ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

ФИНК

Иностранный легион
Судьба Анри Ламбера



РУССКАЯ КЛАССИКА

Русская классика (АСТ)

Виктор Финк

Иностранный легион. Судьба Анри Ламбера

«Издательство АСТ»
1935, 1943

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Финк В. Г.

Иностранный легион. Судьба Анри Ламбера / В. Г. Финк — «Издательство АСТ», 1935, 1943 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-189159-6

Самым известным произведением и вершиной творчества В. Финка является его автобиографический роман «Иностранный легион», рассказывающий о событиях Первой мировой войны. Повествование ведется от лица русского офицера, служившего в Иностранном легионе, который правдиво и без пафоса рассказывает о жестоких, страшных, а порой нелепых эпизодах боевой жизни. В книгу также вошел роман-продолжение «Судьба Анри Ламбера», в котором участники Первой мировой войны, выжившие в окопах, возвращаются домой, но оказываются чужими в мирной жизни.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-189159-6

© Финк В. Г., 1935, 1943
© Издательство АСТ, 1935, 1943

Содержание

Иностранный легион 6
Лум-Лум 6
Живой немец 12
Неудача Эмиля ван ден Бергэ 22
После битвы 30
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Виктор Финк
Иностранный легион;
Судьба Анри Ламбера

Посвящаю моей жене, Э. Я. Финк

Серия «Русская классика»



© В.Г. Финк, наследники, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

Иностранный легион

Лум-Лум

Во вторую роту я попал случайно.

В феврале 1915 года мы, небольшой отряд однополчан-легионеров, возвращались на фронт из госпиталей. Всю дорогу мы веселились и пели песни. Поезд шел медленно, подолгу стоял на станциях, двести километров мы тащились почти сутки. Но всю дорогу мы веселились и пели песни.

Спускался вечер, когда нас высадили на станции Фим, километрах в двадцати от Реймса.

Так! Через Фим мы прибыли на фронт месяцев пять тому назад, через Фим нас эвакуировали после ранений, через Фим мы возвращаемся. Стало быть, полк все еще стоит на старом месте.

Было темно, когда мы перешли мост через Эну. Потом долго хлюпали по грязи и увязали в глине свекловичных полей. Офицер не умел читать карты, не находил дороги и кричал на проводника. Тот слушал равнодушно: он был из Легиона, плохо понимал по-французски и бормотал что-то на своем языке, которого мы не понимали, – по-моему, это был греческий.

Наконец раздалась команда «Рота, стой!» – и мы остановились. Пахло навозом. Внезапно шмыгнул луч карманного фонарика, мы увидели просторный двор, окруженный постройками. Это была ферма. Нас развели по сеновалам. Было тихо, и мы совсем близко слышали глухое уханье пушки и бред пулемета. Война лежала в нескольких километрах. Она тяжело дышала и ворочалась с боку на бок.

Было далеко до рассвета, когда нас подняли, разбили на небольшие группы, построили и скомандовали «шагом марш». Мы шли гуськом, каждый держал переднего за полы шинели: стояла непроглядная темнота, ничего не было видно на шаг впереди. В отдалении изредка вспыхивали ракеты. В их мимолетном бледном сверкании мы начинали различать развалины. Это были развалины Борье. Так и есть, мы возвращались на старое место.

За околицей лежала широкая, но разбитая проезжая дорога. Мы шлепали по грязи не менее получаса и наконец увидели одинокое чугунное распятие. Влево от него редкие кусты кое-как прикрывали спуск в канаву. В канаве стояли солдаты. Проводник приказал позвать ротного писаря, передал ему четырех человек, меня в том числе, вручил документы и ушел с остальными. Я спросил, какая рота, – мне сказали, что вторая.

Скоро стало светать. Рассвет был оловянный, скучный. Я увидел впереди, на поле, одинокую скирду и четыре иссохших, скорбного вида дерева. Тогда я узнал всю местность. Разбитая дорога, которую мы только что пересекли, была Шмен де Дам. Вправо, километрах в сорока, лежал Реймс, на таком же расстоянии влево – Суассон, впереди, меньше чем в километре, – занятый неприятелем городок Краонна.

Я вспомнил, как однажды, до ранения, когда я еще служил в четвертой роте, наш командир, опальный маркиз, убежденный роялист, сказал нам, что считает за счастье охранять Шмен де Дам, Дорогу Дам, потому, что она была проложена для проезда Дам Франции – дочерей Людовика XV.

– Вы все-таки попали в бессмертные места, друзья мои, – прибавил он. – На этом плато, между Реймсом, Лаоном и Суассоном, развернулись величайшие события древней истории Франции. Здесь Юлий Цезарь разбил легионы галло-белгов. Здесь Кловис побил латинскую Галлию. Здесь протекала борьба между потомками Карла Великого и герцогами Франции. Здесь Гуго Капет основал королевскую династию.

Он прибавил, оглядывая нас своими близорукими глазами:

– Вы пришли сюда после легионов Рима, рыцарей Средневековья, ополчения Жанны д'Арк и мушкетеров Мазарини… Вы защищаете колыбель Франции и ее сердце!..

Боже, как это было красиво!

А тут кто-то из наших, какой-то студент-историк, вставил:

– Ровно сто лет тому назад, господин лейтенант, казаки Платова разбили именно здесь, под Краонной, гвардию Наполеона.

Маркиз хмыкнул в ответ что-то нечленораздельное: напоминание было не слишком тактично. Однако нас оно взволновало: какой неожиданный ход судьбы, как внезапно пролилась на нас слава русского оружия, как близко почувствовали мы дыхание далекой родины!

Я предавался этим романтическим воспоминаниям, когда меня и других трех новичков вызвал к себе для оформления ротный писарь. Я попросил перевести меня обратно в четвертую роту.

– Там у меня товарищи, – объяснил я.

Писарь был небольшого роста легионер с густой черной бородой и с шевронами сверхсрочного на рукаве. Он взглянул на меня смешливыми глазами и негромко сказал:

– Дорогой мой, если бы на фронте каждый мог выбрать себе место по вкусу, в нашей второй роте никого бы не осталось, все разъехались бы по домам. Вместе с товарищами. И не только в нашей славной второй роте, но на всей линии огня – как с французской, так и с немецкой стороны. В этом я могу вам поклясться бородой Магомета и своей собственной.

Он прибавил после небольшой паузы:

– Идите. Если на то будет господня воля, вам так же хорошо оторвет голову во второй роте, как в четвертой!

Он сказал это смеясь и сверкая крепкими зубами.

Я уже был у выхода, когда он остановил меня и прибавил:

– Имейте в виду: души наших праведных дураков из второй роты, погибших в бою, возвращаются в роту в облике новых дураков. Теперь вы будете легионером вплоть до Страшного суда. Идите!

Так я остался во второй роте.

Впрочем, я нашел здесь двух товарищей по университету – Наума Бейлина из Одессы и Ренэ Дериди. Ренэ был француз по рождению и воспитанию, но попал в Иностранный легион потому, что считался не то греком, не то португальцем по бумагам.

Моим соседом по месту у бойницы и в канье – так назывались на солдатском языке ямы для ночлега, выкопанные в стенке траншеи, – оказался кадровый легионер первого класса Пьер Бланшар. Это был рослый, сухопарый, но широкий в кости человек лет тридцати, с большими и сильными руками.

У Бланшара было прозвище Лум-Лум.

Адриен Бов, тоже кадровый легионер, объяснил мне:

– Это его бабы так прозвали. Из-за бороды.

Борода у Бланшара была в самом деле замечательная: она начиналась у самых глаз, разветвлялась на два клина и доходила до пояса.

Бов сказал, что на одном из арабских или негритянских наречий Лум-Лум значит козел.

Бов давал мне объяснения негромким голосом. У меня было впечатление, что он побаивается Бланшара. Он даже прибавил почтительным шепотом:

– Сегодня у него кафар. Знаешь, что это такое? Тоска… У него полный кафар!

И тут вошел командир роты, немолодой уже, огромного роста капитан.

– У кого это кафар? – спросил он густым, тягучим басом.

– У Бланшара, – сказал итальянец Пепино Антонелли, по прозванию Колючая Макарона.

– У Бланшара? – с ноткой сочувствия переспросил капитан. – У тебя кафар, Лум-Лум?

– Есть от чего, – ответил вместо Бланшара небольшого роста толстяк, фамилия которого была Франши, а прозвище Пузырь. – В тылу думают, что мы герои! Что мы покрыты рубцами и ранами! А у нас мясо всего только изъедено вшами! Ногтей не хватает рвать на себе мясо!

Капитан стоял, опершись на палку. Это был старый волк Легиона, Он пытался держаться непринужденно, но тоска грузно ворочалась и в его глазах. Она мешала ему.

– Вы начинаете думать, – вдруг выпалил он после долгого молчания, – что у вас не капитан, а старая кобыла, которая не знает дороги к неприятелю.

Все молчали.

– Вы считали, – продолжал капитан, – что война – это переходы по живописным местам, где хорошенькие бабенки поджидают вас на каждом повороте дороги. Вы считали, что война – это горячие бои, шумные сражения, победы, ордена! А мы гнием в траншеях, и дальше ночных перестрелок дело не идет.

Он помолчал и продолжал после паузы:

– Мне жаль моих добрых легионеров, с которыми мы вместе мяли пески африканских пустынь. Верно, старики? Не к такой войне мы привыкли! И мне жаль волонтеров тоже. Они пришли в Легион с высокой и благородной идеей – защищать свободу и цивилизацию. Им надо видеть, какого цвета требуха у немцев. А немцы не показывают носа.

Он опять помолчал и продолжал после новой паузы:

– Так вот, дети, я скажу вам смешную вещь: это и есть современная война! Вместо храбрости теперь нужно терпение! Поняли? И не поддаваться тоске! Кафар – это морская болезнь солдата. Не поддаваться! Ясно? Идет весна. Весной мы пойдем к немцам в гости. Тем лучше будет для тех, кого мы не застанем дома!

Капитан ушел. Его речь, по-видимому, не произвела никакого впечатления.

– У него у самого кафар! – сказал Бов. – Стоит и мычит, и мычит… А у самого кафар! Разве я не вижу?

Было скучно. Весь день прошел скучно: вялая перестрелка с пехотой, потом вялая дуэль артиллеристов, потом резались в карты или спали.

Ночью поднялась тревога. В канью ворвался сержант.

– В ружье! Все в ружье!

Лум-Луму вставать, видимо, не хотелось.

– Что случилось? – проворчал он. – Чего ты опять взбесился? Чего ты спать не даешь, дьявол?

Он повернулся на бок и снова заснул.

Тут появился капрал по фамилии Миллэ и толкнул его ногой.

– Вставай, старая лошадь! Атака! – кричал он. – Немцы!

Мы выбежали в окоп и заняли боевые места.

Была темная ночь. Ветер приносил свежее дыхание незасеянного поля. Оно пахло диким маком.

Неясный стук слышался со стороны неприятеля. Видимо, немецкая рота вышла укреплять проволоку впереди своей линии. Сержант отдал команду стрелять. Мы стреляли и слышали крики раненых. Но после нескольких залпов нас всех загнали в каньи, у бойниц были оставлены только дежурные: никакой атаки не было – обычная перестрелка, какие происходили каждую ночь и давно всем надоели.

Лум-Лум оказался проницательнее всего взвода – он преспокойно спал на своем месте.

Все отнеслись к этому безразлично, кроме капрала. Тот выходил из себя.

– Позор! – кричал он. – Бедная Франция, сколько у тебя трусов и бездельников! Едва наступает опасная минута, они ложатся спать! Товарищи идут повидаться с неприятелем, а эти видят ангелов во сне! И всегда одни и те же! Кто в Тонкине завалился в кабак, когда надо

было защищать честь Франции? Мсье Бланшар! Кто дрыхнул в Аман-Исламе, когда подходили арабы? Мсье Бланшар! Всегда мсье Бланшар!

Со всех сторон кричали:

– Закрой хайло! У Лум-Лума кафар!

Но капрал не унимался.

– Бедная Франция! – бубнил он. – Она кормит легионера, она дает ему обмундирование и оружие, она ему доверяет, она полагается на него… А он ее обманывает…

Капрал был небольшого роста, голубоглазый блондин, тщательно выбритый, усики колечком, весь подтянутый, молодцеватый, кепи набекрень. Вся его внешность была вызовом: легионеры ходили грязные, обросшие, завшивевшие.

Со всех сторон ему кричали: «Молчи!», «Закрой хайло!» и «Не мешай спать!». Но он не умолкал. Он, правда, стал говорить тише, но все о том же: он объяснял своему соседу, что четвертый взвод самый несчастный и все будут перебиты до одного, потому что во взводе есть легионеры с беспокойной шкурой – она всегда дрожит.

– Он ищет драки, этот верблюд! – шепнул мне Бов. – Он видит, что на Лум-Лума навалился кафар, и задирает его. Разве это честно?.. Поганый верблюд с усиками! Вот бы кому надавать по морде!

Все примащивались поудобнее, собираясь спать. Лум-Лум спал. Так я по крайней мере думал. Но, оказывается, я ошибался. Он неожиданно встал, взял свой котелок, подошел к неумолкавшему капралу, склонился над его изголовьем, поднес ему котелок ко рту и сказал:

– Выплюнь сразу все, что ты знаешь о трусах, и замолчи.

Бланшар говорил негромко, медленно, но что-то было особенное и страшное в его голосе, в его неторопливости, во всем его облике. Мы все оцепенели. В канье стало тихо. Тишина была напряженная, мрачная.

– Гром, сто чертей и веревка! – шепотом пробормотал Адриен Бов. – Сейчас пойдет кровь…

Но кровь не пошла. Лум-Лум совал капралу котелок, а капрал только отворачивался и отводил котелок руками. Лум-Лум даже довольно звучно ударил его краем своей посудины по зубам, а капрал только бубнил что-то вроде: «Довольно, Лум-Лум! Довольно! Иди спать, старик!» Он пытался все обратить в шутку. Все увидели, что капрал струсил, и повскакали с мест: каждый хотел взглянуть на него именно в такую минуту, когда он себя унизил трусостью. Я сразу понял это.

– Не тормошите капрала, уважаемые господа и дамы! – раздался громоподобный и насмешливый бас легионера Кюнза. – Возможно, ему надо переменить белье.

Все смеялись громким и счастливым смехом. Один Лум-Лум не смеялся. Я взглянул на него – мука ворочалась в его глазах. Он опустил веки, чтобы скрыть ее. Вот он повернулся, не торопясь прошел на свое место и лег. Через полминуты он храпел. Возможно, на сей раз он действительно спал.

Остаток ночи прошел спокойно. Утром Лум-Лум встал мрачный. Он обошел всю роту и у каждого выклянчивал коньяк-сырец, который нам выдавали в рационе. Напившись, он просидел весь день угрюмый и молчаливый.

Но и капрал ходил невеселый: ночью он потерпел большую утрату – он потерял престиж. К тому же ему вздуло губу. Это было клеймо позора. Оно лежало на лице.

В этот день была раздача хлеба, потом выплата жалованья, капралу некуда было укрыться, он был вынужден весь день вертеться во взводе, у всех на глазах.

– Эй ты, рыбья шкура! – опять окликнул его Кюнз. – Я тебя знаю столько лет, еще из Тонкина, но никогда не замечал, что у тебя верхняя губа настолько толще нижней! Прости меня, пожалуйста!

Его раскатистый хохот гремел, точно весь взвод бил в барабаны.

Миллэ хмуро молчал.

– Помесь шакала и гиены, – сказал Адриен Бов.

– Кто?

– Миллэ.

Я посмотрел на него вопросительно. Он пояснил:

– Бывает, встретишь парня и подумаешь – скотина и собачий сын… А потом оказывается – человек, и неплохой. Иной и сам того не знает, что он человек. Очень его в жизни крутило и вертело, ему и подумать некогда было о том, что он – человек… Но дай ты ему, ради бога, спокойный кусок хлеба, чтобы без хлопот и без страха, дай ему осмотреться, – так ведь золотая душа. Лум-Лум из таких. Сейчас у него кафар, сейчас ты его не трогай, но ты еще увидишь, что это за парень! А уж что касается капрала…

Бов продолжал после небольшой паузы:

– Я еще помню, как он постучался в ворота полка, в Сиди-Бель-Абессе. И через полгода он угодил в тюрьму: у него вышел разговор с одним кабатчиком в Сиди, и кабатчик умер от ран. Потом он вернулся в роту, и в Аннаме ему дали капральские нашивки: он сделан из той собачьей шкуры, из какой получаются капралы и сержанты. Но скоро он опять угодил под замок: безвременно погибла одна святая и достойная вдова. Она содержала солдатский публичный дом, и у нее водились деньги. Улики были против Миллэ. На этот раз его освободили раньше срока – он попросился в действующую армию.

– Таких бы надо резать по ночам на арабских кладбищах, – продолжал Бов после новой и хмурой паузы. – С этого надо бы начать. Прежде всего вывести на арабское кладбище и зарезать. А там видно будет! Ты знаешь, что он немец? Подумай только – немец, а сам попросился на войну против своего родного фатерланда… А почему? А потому, что ему все равно, против кого воевать, лишь бы воевать. Думаешь, их у нас мало таких в Легионе? Ой-ой-ой! Иной Франц или Фриц только отбудет воинскую повинность у себя в Германии – и сейчас же марш к нам в Легион. Почему? Ты спрашиваешь почему? Потому что работать, что-нибудь делать руками, ему скучно. Он любит носить оружие, и чтобы р-раз-два, р-раз-два – подавать команду, подвинчивать усы колечком, – и чтоб за ним бабы бегали и дрожали. Конечно, это легче, чем стоять за верстаком. Главное – оружие, восемь пуль в стволе! Можно сразу накормить смертью восемь человек. Он этим гордится. Он думает, это ставит его выше других.

Бов раскурил трубку и как бы в заключение беседы прибавил:

– Такие всех задирают, всех они поучают, вечно они себя выставляют большими знатоками во всем, что касается храбрости и трусости. Так что, по-моему, не иначе как сама пречистая Дева Мария, матерь божия, дала ему по морде рукой Лум-Лума. Это она сама показала всему четвертому взводу, что не стоит бояться того, кто громко кричит и петушится и носит усы колечком. Раз по зубам – и в помещении стало тихо!..

После ужина, когда спустилась темнота, набирали охотников в разведку. Первым вызвался Лум-Лум.

Нам было поручено обследовать насыпь, которая, как говорили, неожиданно выросла между нашими и неприятельскими окопами. Предполагалось, что позади насыпи вырыта яма и там засел снайпер, который делал роте пакости.

Мы тихо ползли на брюхе и вскоре растеряли друг друга.

За насыпью никто не скрывался. Доползши до нее, я вскочил на ноги, высоко занес винтовку и с размаху опустил вниз. Там было пусто.

Сержант видел мой силуэт при вспышке ракеты и потом грозил посадить меня под арест за то, что я встал во весь рост.

– Он мог вас наколоть на штык, как сардинку! – кричал сержант. – Это ваше дело, конечно! Я не имею в виду шить себе башмаки из вашей шкуры, но вы могли выдать всю разведку, олух! Вы мне тут будете играть в храбрость, а я из-за вас весь взвод растеряю?!

Храбрость! Он никогда не узнал, что силы покинули меня в тот момент, когда я опустил штык в яму. В какое-то неуловимое, ничтожное деление секунды мне представилось, что в яме сидит такой же парень, как я, молодой и здоровый искатель восторгов. Я не смог его убить. Штык опустился беспомощно, как метелка.

Разведка прошла неинтересно. Мы вернулись продрогшие, грязные и злые. Лум-Лума не было с нами. Он явился минут через десять после переклички и молча лег спать. Утром он орал на всю канью:

– Спросите у Миллэ, где его кепи! Ты его пропил? Отвечай! Ведь ты-то в разведку не ходил! Где ж твое кепи?

Миллэ уже давно хватился – у него действительно пропало кепи. Он искал где только было можно, но безрезультатно.

Лум-Лум хохотал во всю глотку.

– Разве это не горе – видеть легионера, к тому же капрала, которому Франция даже не может доверить кепи?! – орал он. – Как же ты теперь будешь без кепи? Подумайте только, господа военные, такая персона, сам капрал Миллэ, божок мамзелей, кумир всех шлюх Франции и колоний, светоч ума, родной брат свиного рыла, – и вдруг без кепи? Где же ты теперь будешь вшей держать? Об этом ты подумал?

Внезапно он вытолкнул Миллэ из каньи в траншею, подхватил под руки меня, Бова и позвал всех остальных.

– Смотрите, ребята! – кричал он. – Смотрите прямо на немецкую траншею. Два пальца влево от крайнего дерева. Есть?

Мы увидели вдали, у самой немецкой проволоки, французское кепи, надетое на штык. Штык был воткнут в труп немецкого солдата.

– Ты хорошо видишь, Миллэ? Есть кепи для тебя! – орал Лум-Лум. – Ставлю два литра против пустого стакана, что оно тебе будет по мерке! Тебе надо только потрудиться сходить за ним! Что тебе стоит?

Миллэ угрюмо молчал. А Лум-Лум веселился:

– Только когда пойдешь, голубчик Миллэ, оставь кому-нибудь штаны на хранение, а то испортишь казенные штаны.

День опять прошел без событий. Моросил мелкий дождь. Было скучно.

Вечером Лум-Лум был снова пьян и грустен. Он сидел на мешке с хлебом и угрюмо пел на жаргоне североафриканских колоний песню с припевом: «Сунь свой зад в котел! Скажешь мне потом, горячо ли тебе было». О минувшей ночи он не хотел рассказывать. Когда Миллэ, вернувшись с дежурства, ложился спать, Лум-Лум вынул из кармана немецкие ефрейторские нашивки и бросил ему.

– На, голубчик Миллэ, – сказал он. – Иди отдай их тому немцу и отбери у него свое кепи.

Он обвел канью грустным взглядом, допил остаток вина из кружки и лег спать.

У него был кафар.

Живой немец

Почти перед самым рассветом батальон уходил на очередной отдых в лесок Блан-Саблон. В ходах сообщения была давка и сутолока.

В поле раздался одинокий выстрел. Послышался сдавленный крик.

– Наши хозяйничают! – сказал кто-то. – Разведка!

Через несколько минут пронесся слух, что разведка вернулась невредима и даже привела пленного. Выйдя из траншеи на дорогу, я видел, как в головную часть отряда побежало трое, из них один безоружный. Это вели пленного. Лица его мы не видели – утро едва зарождалось…

Сбросив ранец в Блан-Саблоне, я отправился в тыловую деревушку Кюри к зубному врачу. Направление было и у Лум-Лума. Мы пошли вместе.

У самой деревушки, не заходя в околоток, Лум-Лум завернул от церкви направо за угол, в переулок.

– Надо немного почиститься, – сказал он, – а то неловко, у них тут, в тылу, все ходят щеголями, а мы, смотри, на кого похожи.

Он поднялся на две каменные ступеньки и открыл дверь, гостеприимство которой знали все проходившие здесь полки. Молодая вдова быстро собрала нам поесть. Две бутылки вина выросли перед нами, хозяйка присела к нашему столу, и жизнь совершенно незаметно, как-то сама по себе, стала становиться прекрасной. Лум-Лум обнимал хозяйку, щекотал ее, целовал за ушком, потом вызвался наколоть ей дров, и они покинули меня не меньше чем на час. Потом мы выпили еще по бутылке. Лум-Лум пришел в состояние полного благодушия и стал умолять меня, чтобы я, не стыдясь, сознался, что у себя на родине я, как все в России, питался сальными свечами и пил керосин. Он заклинал меня знаменами Легиона, деревянной рукой капитана Данжу, погибшего в Камероне, и памятью убитых товарищей. Я в конце концов сознался. Хозяйка пришла в бешеный восторг.

– Как это красиво, что даже дикие народы пришли защищать Францию! – воскликнула она и принесла еще литр красного.

Ничто чудесное не бывает длительно. Мы вспомнили про врача и отправились в околоток.

– Почиститься мы так и не успели, – сказал я Лум-Луму.

Но это его не смутило.

– Плевать я на них хотел, на тыловых щеголей! – сказал он пренебрежительно. – Пускай видят, как выглядят добрые бородачи, сидящие под огнем в траншеях!

Врач сразу понял многое по нашему виду.

– Вы, однако, расторопные легионеры! – сказал он. – Еще рано, а вы уже пьяные.

– Надо же было немного промочить глотки, господин доктор! – сказал Лум-Лум заплетающимся языком. – Жарко, песок бьет в рот! Пересыхает в горле! Понятно?

– Это ж где жарко? Какой песок бьет вам в рот? Легионер, вы не заметили, что на дворе грязь?

– Конечно, господин доктор, – уже икая, отвечал Лум-Лум, – конечно, грязь. Я ведь не спорю. Но когда я говорю «жарко» и «песок», я имею в виду Бель-Абесс в Северной Африке, где стоит наш гарнизон. А здесь, конечно, грязь. Но вот этот легионер второго класса, – сказал он, указывая на меня, – он, видите ли, мечтает свернуть себе шею за Францию. Он затем и пришел в Легион. Что вы хотите, он русский, у него даже имя чисто русское – его зовут Самовар. Это у них вроде как у нас, скажем, Жан или Пьер. И он происходит от белого медведя. У них в семье все дети – медведи. Шесть душ! И все белые. Неудивительно, что ему жарко в нашем климате. Вот я и разрешил ему выпить глоток красного – жалко было смотреть, парень пропадал от жажды.

Всякому было бы совершенно ясно, что сейчас мы отправимся под арест не меньше чем на две недели и что Лум-Лум носит свою нашивку солдата первого класса в последний раз.

Но врач оказался чудаковатым малым. Он вырвал зуб мне, вырвал зуб Лум-Луму и дал каждому из нас по три франка на вино. При этом он порекомендовал нам зайти в некий гостеприимный дом, от церкви за угол направо, в переулке, две каменные ступеньки вверх… Там есть добрая женская душа, и мы сможем подкрепиться.

Так и есть, мы попали обратно к вдове.

Все началось с самого начала. Опять появилось на столе вино, Лум-Лум опять увел вдову колоть дрова.

Я бросил шинель на скамейку и успел изрядно выспаться, раньше чем они вернулись. Мы наполнили вином свои двухлитровые африканские баклаги и наконец отправились назад, в роту.

Лум-Лум был пьян. Кроме того, его совершенно разморило от усталости и восторга. Он обнимал меня, целовал и стал горланить знаменитую песню колониальной пехоты:

Жила на свете прачка, Она белье всем мыла, А муж стоял с ней рядом И подавал крахмал.

Жила на свете швейка, Она белье всем шила, А муж сидел с ней рядом И петельки метал.

Безумье – в бабьи страсти Запутывать себя! – Солдат, коль хочешь счастья, Люби всегда шутя.

В изменчивой сей жизни Твое занятье – бой! Сжимай винтовку крепче И песни громче пой.

Лум-Лум не пел, он горланил. Вид у него был неважный. Идти дорогой нам было невыгодно: первый встречный сержант мог отвести нас под арест. Я решил, что надо свернуть в лес.

В лесу Лум-Лум перестал петь. Мне даже показалось, что у него прошел хмель. Он сделался сосредоточен и хмур и стал рассказывать о себе. Навело его на откровенность воспоминание о гостеприимной вдове.

– Понимаешь, она страшно похожа на мою жену, на Луизу, которую я едва не искрошил топором. Да, старина, я все больше убеждаюсь, что это все-таки было глупо с моей стороны. Мы жили с ней в Белльвилле, как голубки, и могли бы так жить еще сто лет, если бы не этот Итальянец. Понимаешь, завелся итальянец! Чуть я из дому – он в дом! Чуть я из дому – он в дом! Ну, я раз побил ему морду, ну, два! Однако не могу же я каждый день подкарауливать его и бить – ведь мне работать надо. Ведь я плотник, не правда ли? Ну и что ты думаешь? Прихожу однажды вечером домой, а мои голубчики сидят растерянные и неодетые. Тут у меня кровь прямо вмиг свернулась в сыворотку, и я как схватил топор да как пошел крошить… Покуда не прибыла полиция и не увела меня, я продолжал работать топором. Я даже не заметил, что их самих оттащили соседи и что я крошу только мебель. Правда, им тоже попало, тем голубчикам. Все-таки повалялись они в больнице. Конечно, меня судили. Но присяжные поняли, что я не злой малый, – всякий поступил бы на моем месте точно так же… Меня отпустили…

Я уже успел полюбить Лум-Лума. Меня привлекали его душевная прямота, его мужество, к его солдатской грубости примешивалась какая-то скрытая мука. Я полюбил Лум-Лума.

– Давай, старик, присядем покурим, – предложил я.

– Давай, – согласился Лум-Лум и сразу плюхнулся наземь. – Кстати, объясни мне: зачем ты пришел в Легион? Ты и все остальные русские волонтеры? Откуда вас взялось столько дураков у господа бога? Был бы ты один. Ну, нашелся бы еще один. Наконец, еще три… Но ведь вас тысячи. Неужели вы все такие идиоты там у вас, в России? Расскажи мне подробно.

– Долго рассказывать, – ответил я.

– Но ты хоть одно объясни: верно, что вы защищаете право и цивилизацию?

– Верно.

– Значит, как раз поэтому вам и надо видеть, какого цвета требуха у немцев?

– Да, примерно так.

Он был озадачен и, подумав, спросил:

– А я чего торчу в этой драке? Прав я никаких не имею. А цивилизация?! Я даже не знаю, что это за слово такое смешное… Чего я торчу в этой драке?

– А ты не торчи! – сказал я.

Меня злили его дурацкие вопросы: в ту пору я уже не знал, как на них ответить самому себе. Всего несколько месяцев назад, в августе 1914 года, нас уверяли, что вот наконец начинается священная война за Право, за Цивилизацию, за Свободу, за Освобождение человечества, великая и последняя война в истории народов. И мы поверили. Но пришло время, и многих стало терзать сомнение. Мы еще недостаточно ясно понимали, что нас обманывают, но многих стало терзать сомнение. Вопросы Лум-Лума злили меня.

– А ты? – спросил я. – Тебя кто звал? Тебя какие черти занесли в Легион?

Он долго и угрюмо молчал и наконец буркнул:

– Я и сам не раз задавал себе этот вопрос. И всегда находил только один ответ: она одна виновата. Во всем…

– Кто – она?

– Жизнь! Падаль, незаслуженно называемая жизнью.

– Ты мне дымовой завесы не пускай! – с раздражением сказал я. – Отвечай на вопрос: какие черти занесли тебя в Легион? И без разглагольствований!

– Что же мне сказать тебе, старик? – начал он после раздумья. – У меня ведь все произошло не так, как у тебя. Никакой цивилизации… Я тебе сказал, что присяжные меня оправдали. «Можете идти». А куда идти? Домой? К Луизе? Она меня ни разу в тюрьме не навестила. А я просидел полгода. Даже пачки табаку она мне не принесла. И в суд она не пришла. Она выехала из Парижа и черт ее знает куда. И этот Умберто тоже выехал. Я думал, меня запрут на несколько лет. И при этой мысли меня точило только одно: я не увижу Луизы, я ее потеряю. Но когда она даже на суд не пришла, я понял, что уже все равно потерял ее. А больше мне терять было нечего… Ну вот, выхожу, значит, на свободу, иду на фабрику, где раньше работал. На меня смотрят, как на уголовного. Такие не нужны. Иду в другое место, в третье, в двадцать третье – везде одно и то же. Во время суда моя мордашка была напечатана во всех газетах, все меня сразу узнавали, и никто не хотел пустить на порог человека, который сидел в тюрьме. Что же мне, думаю, делать? Где мне жить? Чем мне жить? Зачем мне жить? На что мне жить? Воровать я не умею. Очень жаль, но это так. Хожу голодный, а украсть не умею. И вдруг я встречаю одного земляка. Это был жулик первого класса. Я его давно не видел и считал, что он гниет где-нибудь на каторге. И вдруг мы сталкиваемся на улице прямо носом к носу. Смотрю, он военный, этакий молодцеватый вид, сержантские нашивки. «Как?! – я говорю. – По тебе виселица плачет, а ты сержант?» – «Сержант, – он говорит. – В Иностранном легионе. И тебе того желаю. Идем выпьем по стаканчику». Выпили по стаканчику, а когда я рассказал ему все о себе, выпили по бутылке, назавтра еще по одной, и заметь – все он угощает. Угощает и угощает и все убеждает меня, что я должен идти в Легион и не надо мне никакой другой дороги. «Будешь, говорит, сыт, одет, обут, никаких забот. Ведь в Париже ты без мозгов останешься, пока найдешь кусок хлеба. А там, у нас, в Легионе, ты еще утром глаза не протер, а тебе уже принесли горячий кофе прямо в помещение. А работы никакой. Какая это работа – посматривать, чтобы арабы сидели смирно и уважали французское знамя?» И эту мазь он втирал мне в мозги, и в печенку, и во все потроха. Я еще не знал тогда, что это отродье гиены – вербовщик и получает с головы, – я слушал. Но я все-таки сопротивлялся. Я, понимаешь, терпеть не могу казармы и «левой-правой», и, главное, терпеть я не могу стоять навытяжку, руки по швам, перед каким-нибудь болваном с золотыми галунами. А тот мне доказывает, что навытяжку я все равно стоял, и стою, и буду стоять всю жизнь, потому что я рабочий, а не хозяин. «Перед хозяином тянуться – действительно унижение, – говорил он. – А когда ты стоишь навытяжку перед любым идиотом в казарме, это не унижение, потому что ты стоишь навытяжку перед

отечеством». И вот я мало-помалу начал склоняться, покуда он меня не добил окончательно. «Разумеется, – сказал он, – если бы ты был из богатеньких и президент республики добивался, чтобы ты женился на его дочке, тогда другое дело. Тогда я первый сказал бы: «Женись, старик, и зови меня на свадьбу». Этим он меня, мерзавец, и добил. Я как-то сразу увидел, что я не нужен ни президенту и ни одному псу во всей республике. Я на все плюнул, на все надежды, и пошел в военное министерство. Через неделю я выехал в Африку, в Иностранный легион.

Он умолк, опустил голову и, видимо, предался каким-то не слишком веселым воспоминаниям.

– Что ж ты нашел в Легионе, тыква? – спросил я.

Но он, кажется, не слышал моего вопроса и продолжал задумчиво молчать. Внезапно он взорвался и заорал:

– Нет, ты мне объясни, рюскó: кто это так испоганил жизнь? Когда человек погибает от голода, это никого не трогает. Но пусть он попробует украсть кусок хлеба! Тогда все прибегут – полиция, газеты, суд, адвокаты. Все всполошатся. Все смотрят на голодного, как он барахтается и утопает, и мычат ему: «Нельзя-а-а!», «Нельзя-а-а!», «Нельзя-а-а!», едва он хватается за что-нибудь, что может его спасти. Украсть кусок хлеба – грех. За это тюрьма на земле и голым задом в огонь на небе. «Не укради!» Помни заповедь! Лучше возьми винтовку и поезжай в колонии. Будешь убивать арабов в Алжире, и аннамитов в Индокитае, и мальгашей на Мадагаскаре, и еще кого прикажут и где прикажут. Тогда ты будешь считаться добрым христианином и сыном отечества. Кто это так устроил жизнь, Самовар? И как его зовут, этого благодетеля? А? Не знаешь?

– Ладно, – сказал я. – Все понятно. Что с Луизой? Ты что-нибудь знаешь о ней?

– Да ну ее три раза ко всем чертям! – огрызнулся Лум-Лум. – Я о ней и думать не хочу. Она сука. Уж если сказать правду, мне более жалко этого беднягу-итальянца, Умберто его звали. За что я все-таки хватил его топором по ноге? Что он сделал? Лез к чужой бабе? А кто не лезет к чужой бабе? Ты не лез? Я не лез? Всякий рад полезть к чужой бабе. Что тут необыкновенного? Глупо было все-таки с моей стороны набрасываться на него!.. Впрочем, – прибавил он после паузы, – поздно теперь думать об этом. Не стоит. Давай поспим немного. И вот моя баклага. Когда я захочу выпить, разбуди меня.

Но он не заснул. Он все ворочался с боку на бок, вздыхал, кряхтел, что-то бормотал. Меня уже охватила дремота, когда я внезапно услышал его негромкий и, как мне показалось, растерянный голос:

– Не пойму, не пойму, какого черта он в ней увидел… Ведь она некрасивая…

– Ты о ком?

– О ком? – смущенно переспросил он после паузу. – О Луизе. Ведь она некрасивая. У нее нос картошкой и оспины на носу. Какого черта он в ней увидел?

– А ты? – спросил я. – Что ты в ней увидел?

Он посмотрел на меня с изумлением.

– Я? Я? – сказал он. – Но ведь я-то ее люблю. Это совсем другое дело…

Я ничего не ответил. Я и сам думал о любви.

А он сказал:

– Ты, пожалуй, и понятия не имеешь, что это значит – любить свою бабу. От нее всегда пахнет. В особенности по утрам, когда ты вынимаешь ее из постели. От нее пахнет теплом и бабьей сытостью. Она вся тогда как свежая булка…

Он снова задумался, помолчал и прибавил:

– Она горячая от любви. Это тебе не солдатский хлеб, который нужно разогревать дровами…

Он поднес ко рту баклагу и долго ее не отрывал. Вино попало на старые дрожжи, у моего приятеля глаза заблестели, как медные пуговицы на параде; он снова пытался петь, но ничего

не спел, повалился на траву, положил баклагу под голову и сразу захрапел. Заснул и я. Но долго спать не пришлось. Меня разбудил выстрел. Лум-Лум стоял на ногах и стрелял куда-то в чащу, неистово крича:

– Кабаны! Кабаны! Рота, пли!

Я подумал, у него припадок белой горячки. Однако в чаще действительно прошмыгнули кабаны. В ту пору лесные жители, потревоженные людскими делами, оставляли свои логовища и носились по стране в поисках безопасности. Одного кабана мы убили. Захлебываясь от детской радости, Лум-Лум стал расписывать, как это будет здорово, когда мы явимся в роту с такой добычей:

– Пошли зубы рвать, а принесли кабана!

У него мелькнула мысль продать тушу интендантству, но он быстро отказался от таких мелочных соображений.

– Придем и скажем: «Вот, рота, лопай, поправляй здоровье!» Капитан, конечно, заберет окорока себе, но ничего, хватит и нам…

Туша оказалась тяжелой. Мы перевязали кабану ноги, продели ствол молодого деревца и понесли, сгибаясь под тяжестью.

– Вот будет подарочек так подарочек! – говорил Лум-Лум, кряхтя.

Неожиданно и неизвестно откуда появились артиллеристы. Они набросились на нас с бранью. В чаще, оказывается, стояла замаскированная батарея. Наша пальба взбудоражила всех. Тревога поднялась по всей линии.

Я был уверен, что уж на сей раз нам никак не миновать ареста и что Лум-Лум все-таки потеряет свою нашивку. Однако помогли окорока. Артиллеристы заставили нас снести кабана к ним на батарею, после чего прогнали нас с бранью и пинками, но начальству не выдали.

День, начавшийся так радужно, стал портиться. Усталые, разбитые, голодные, поплелись мы на свой бивак. Мы думали вернуться героями, а возвращались с необъяснимым опозданием на пять часов. Никто не поверит, если мы станем рассказывать, что на нас напало целое стадо кабанов, что мы выдержали настоящее сражение с ними и подстрелили знатное угощение для роты, но его забрала артиллерия. Этому никто не поверит. Но зато всякому будет видно, что мы плохо держимся на ногах и что от нас разит винищем. Скорей бы добраться до взвода и завалиться спать, а потом как-нибудь незаметно юркнуть к обеду…

Однако мы опоздали, все пообедали. Взвод бил вшей. На поляне, у воронки, в которой скопилась дождевая вода, сидели легионеры, занятые генеральной чисткой. Вся кухонная посуда – бачки, тазы, котелки, ведра – висела над кострами: взвод кипятил белье в мыльной воде. Солдаты сидели голые и чистили верхнее платье.

Шаровары, куртки и шинели были вывернуты наизнанку. Трутами, тлеющими щепками или горящей бумагой каждый выжигал насекомых, забившихся в швы. Все наши были здесь: Франши, по прозванию Пузырь, Бейлин, Ренэ, Миллэ, Пепино Антонелли, более широко известный в роте под именем Колючая Макарона, испанец Хозе Айала, которого мы звали Карменситой. Нас встретили ироническими восклицаниями:

– Вот они, голубчики!

– Вернулись-таки!

– В гостях хорошо, а дома лучше?!

– Ну-ка, покажите зубы! Не все вырвали? За столько времени могли и новые вырасти.

Но Лум-Лум догадался пустить по рукам наши баклаги, и нас оставили в покое.

Тут же мы заметили, что во взводе есть новичок. Какой-то незнакомый детина громадного роста, в светлорыжей бороде сидел голый у костра. Он испуганно посмотрел на нас с Лум-Лумом.

Это был пленный немец. Он застрял. Легионер Карбору из третьего взвода был назначен проводить его в штаб. Но едва они вышли, как над ними стали разрываться шрапнели. Немцы

недавно построили себе наблюдательный пункт, который открывал им вид на дорогу. Карбору был ранен и упал. Немец оказался добросовестным пленником, он взвалил конвоира себе на плечи и отнес на бивак.

– Смешной тип! – определил его Лум-Лум.

Ротный распорядился держать пленного у нас, в четвертом взводе, и ночью отправить в тыл с конвоирами интендантского обоза. Немец просидел молча целый день среди наших ребят и обедал с ними. Его особенно не стерегли, – он доказал, что бежать не намерен. Да и куда ему тут бежать? Однако когда все разделись, то заставили донага раздеться и его. И вот он сидел, все еще испуганный, молчаливый, и смотрел теперь на нас с Лум-Лумом заискивающими глазами.

– Смешно! Впервые вижу голого немца! – говорил Лум-Лум. – Ты подумай, Самовар! Парень скинул каску и шинель и стал похож на своего! Кто теперь скажет, что он неприятель? Подумать только! А меня пригнали из Африки специально затем, чтобы я его убил?! Смешно, ей-богу!

Он подсел к пленному и, хлопая его по голой спине, стал совать ему в рот горлышко баклаги.

– Пей, бош, пей! – кричал он. – Погоди, я тоже разденусь! Погоди!

Он быстро скинул шинель, обмундирование и сел рядом с пленником. Я сделал то же. Теперь мы сидели голые и все трое пили вино из одной баклаги. Немец держал себя робко, но после нескольких добрых глотков он обнял голого француза, у него по-пьяному закатились глаза, он стал что-то бормотать и заплакал.

Лум-Лум, напротив, пришел в боевое, веселое настроение и запел все ту же песню:

Безумье – в бабьи страсти Запутывать себя! Солдат, коль хочешь счастья, Люби всегда шутя.

Однако вино опять попало на старые дрожжи. Вскоре Лум-Лум тоже заплакал пьяными слезами и забормотал что-то по-арабски.

Взвод ржал от удовольствия, как табун.

– Да возлягут козлища со львами! – процитировал Пузырь.

Его перебил Миллэ:

– И болваны с дураками… Ничего смешного тут нет. И за такие фамильярности с Бланшара надо было бы содрать нашивку первого класса.

Миллэ все время держался в стороне, он один не принимал участия в общем веселье.

– Какая нашивка? – огрызнулся Лум-Лум. – Сейчас я голый человек. У меня на теле нет нашивок. У меня есть только родимые пятнышки. Я тебе покажу их, когда встану! Сейчас я на них сижу…

Между тем из-за кустов показался артиллерийский фейерверкер.

– Не проходили здесь двое пьяных легионеров? – спросил он.

Мы с Лум-Лумом замерли.

– Мерзавцы коня ранили! Не видали?

Лум-Лум не растерялся, он только прикрыл рубахой свою знаменитую бороду и сказал:

– Сержант, вы не туда попали. Мы не Легион. Мы восемнадцатый линейный. А Легион – это вправо возьмите, вон за лесочком.

Мы слушали с изумлением и восторгом, как весело врал Лум-Лум. Артиллерист поверил. Он удалился, продолжая ругаться. Когда он стал невидим за деревьями, все прыснули со смеху. Лум-Лум смеялся громче всех. Он катался по земле.

– Смотрите, парни! – кричал он. – Легионера тоже нельзя узнать, когда он голый! Я-то артиллериста узнал по ордену и нашивкам. Это именно он дал Самовару пинка! А он нас не узнал, потому что голый человек не легионер. Тут есть о чем подумать!..

Лум-Лум был в восторге. Он лежал на спине и, высоко задрав ноги кверху, орал не своим голосом:

– Миллэ! Познакомься с моими родинками! Это может тебе пригодиться в жизни!

Платье было кое-как почищено, и все стали одеваться. Одевался и пленник. Тогда минута за минутой начала возникать странная натянутость. Серые штаны немца еще не так сильно отличались от наших, грязно-голубых. Но обувь была не как у нас – не ботинки на шнурках, а сапоги с голенищами. Потом немец надел куртку. Она у него была длиннее наших. Когда, застегнув шинель, он вскинул на голову каску, воцарилось неловкое молчание. При входе в канью его угрюмо пропустили вперед. Он забился в угол и молчал.

Все занялись приготовлениями ко сну. У пленного постели не было. Лум-Лум подбросил ему немного соломы. Немец подобострастно поблагодарил. Потом, когда улеглись, Бейлин предложил ему покурить. У немца был свой табак. Он протянул его Бейлину. Они поменялись табаком. Явился сержант Уркад. Он сделал перекличку, выставил у входа часового и сказал, что, когда прибудет продовольствие, пленного отведут в обоз и сдадут конвоирам. С этим Уркад ушел. Немец лежал близко от меня.

– Поговори с ним, – попросил Лум-Лум. – Узнаем, как у них солдат живет.

Немец с готовностью вступил в беседу. Он сказал, что взят из запаса. Он очень боялся идти ночью в разведку. Его товарища, лежавшего в секрете, недавно убили. При этом ему воткнули его же штык в живот, а на штык надели французское кепи. Кроме того, с него содрали нашивки. Говорили, что это дело рук легионеров, что французскую позицию занимают легионеры, и потому все боятся.

Лум-Лум, которому я переводил рассказ немца, громко расхохотался.

– Ерунда! – кричал он. – Враки! Таких вещей не бывает! Скажи ему, что это ерунда! Зачем легионеру немецкие нашивки? Что у нас, своих нет? Объясни ему, Самовар, поскорей, что во французской пехоте тоже выдают нашивки. Уж если чего иной раз не хватает, так кепи. Но в чужих нашивках мы не нуждаемся. Растолкуй ему, Самовар.

Колкость по адресу капрала освежила приятные воспоминания о том, как Лум-Лум его осрамил. Взвод веселился. А немец улыбался криво. Он спросил, почему все смеются. Я перевел ему слова Лум-Лума. У немца была грустная улыбка. Не зная, как себя держать, он сказал, что видит, насколько напрасны были его страхи: все здесь очень милые и симпатичные ребята.

Вскоре начали падать снаряды. Один упал поблизости от канцелярии.

– И бог един, – проворчал Кюнз.

Свалилось еще три снаряда.

– Три снаряда упало в кухню, но бог един, – отсчитал Кюнз.

Через полминуты упало еще два снаряда.

– Два снаряда упало возле отхожего места, но бог един, – продолжал отсчитывать Кюнз.

Эти первые снаряды оказались, подобно крупным каплям дождя, предвестниками ливня. Ливень разразился через минуту с необычайной силой.

– Погода портится! – заметил Лум-Лум. – Размоет дорогу.

Действительно, огонь был сосредоточен на дороге. Немцы, по-видимому, знали, что предстоит доставка провианта. Огонь лился на шоссе всю ночь, как тропический ливень. Под утро опять несколько снарядов упало на наш бивак.

К рассвету стало тихо. Мы выглянули наружу и увидели друг друга. Распухшие, землистого цвета лица, полубезумные глаза, дрожащие руки. Какая-то отрешенность всегда овладевала нами после таких ночей.

А день начинался счастливый и улыбающийся. Сквозь легкий утренний туман к нам спешило солнце.

Немец опять застрял. По приказанию капитана он работал вместе с нами. Он рыл могилы, сваливал туда убитых, нарубил деревьев для заборчика вокруг уборных, починил кухню. Немец

оказался трудолюбивым малым. Работа горела у него под руками, но сам он при этом сохранял какой-то виноватый вид.

Шла обычная жизнь роты, находящейся на отдыхе. Мы пили вино, чистили оружие, рассказывали всякие истории и резались в карты.

Пленник сидел в уголке и молча курил. Он обратил внимание на рваные башмаки Франши и вызвался починить их. Он был сапожник.

– Смотри! – сказал мне Лум-Лум. – Совсем как тот Умберто. Он тоже был сапожником.

Поломанный приклад немец обратил в колодку. У кого-то нашлась толстая игла, и он быстро смастерил из нее шило, дратву он имел при себе. Немец быстро и ловко починил Франши обувь. Тогда заказы посыпались. Пришлось установить очередь. Забитый и испуганный пленник, робко жавшийся в углу, делался нужным человеком.

– Тьфу, черт! – сказал мне Лум-Лум. – Я в жизни не видел таких смешных людей, как сапожники! Если жив этот Умберто, который сделал шлюху из моей бедней Луизы, он теперь в итальянской армии и считается моим другом и союзником, этот подлец! А тут тебе фриц, который починил обувь всему взводу, – чего мы, заметь, не могли добиться от интендантства, – и он считается неприятелем!

Лум-Лум звал немца фрицем. Так называли немецких солдат во всей французской армии.

– Ай да фриц! – говорил Лум-Лум. – Ай да бош! Молодчага!

Лум-Лум явно полюбил немца. Он сделался главным покровителем и защитником пленника и объяснял всем, что нельзя пользоваться услугами немца безвозмездно. Лум-Лум обходил всех заказчиков фрица и собирал для него табак, вино, хлеб.

Работу стали приносить и из других взводов. Фриц изрезал старые башмаки, снятые с убитых, и пустил кожу на заплаты и набойки. У капитана тоже оказались сбитые каблуки. Фриц починил и их.

Фриц работал без каски и без куртки. Ноги он покрыл тряпкой, так что не видно было ни его серых немецких брюк, ни сапог. Просто в канье сидел сапожник и работал.

Когда принесли обед, немец смело стал в очередь вместе с нами. В руках у него оказался котелок – наследство одного из убитых. Когда раздавали добавку, он подставил котелок, не дожидаясь приглашения. После еды он показал, что у него кисет порожний. Ему охотно дали набить трубку, а Лум-Лум обошел наш взвод и третий, откуда тоже приходили заказчики, и вскоре принес фрицу полный кисет табаку.

– Данкэ шэн, – протянул немец, улыбаясь, и засунул кисет в карман. Сделал он это уже без всякого подобострастия и неловкости. Фриц не чувствовал себя неприятелем, виновником несчастья, которое нас постигло. Сапожник чувствовал себя сапожником.

Но саперы восстановили полевой телефон. Из штаба запросили, почему не присылают пленного. Мы узнали об этом от денщика капитана.

– Понимаете, ребята? – сказал он. – После этой ночной музыки он там особенно нужен, этот фриц! У него попытаются узнать, что и как.

– Ну да! Мы уже тут сами подкатывались к нему. Он ничего не знает, – сказал Лум-Лум.

Денщик высокомерно назвал Лум-Лума стратегом отхожих мест и, смеясь, ушел. Фриц не знал, что речь шла о нем. Он работал.

Отправить его в штаб все же не пришлось. Когда оттуда стали звонить слишком настойчиво, капитан резко ответил, что у него не конвойная команда, а боевая рота. И с него достаточно потери одного Карбору. Жертвовать солдатами для конвоирования сапожников он не будет, даже если этого потребует сам главнокомандующий. Пускай придут за немцем те, кому он нужен, а легионеров истреблять по пустякам он не позволит.

Порешили, что придет артиллерист и поведет пленного прямо на наблюдательный пункт – пусть дает указания оттуда. Артиллерист не пришел. Впоследствии мы узнали, что первый

вышедший был ранен, двое других убиты: дорога была у немцев на виду, они били без промаха. Пришлось опять отложить отправку фрица до наступления темноты.

Но едва начало вечереть, огненный ураган возобновился.

Теперь стреляли обе стороны. Это была артиллерийская дуэль, одна из бесконечных дуэлей на Эне. Два встречных потока огня лились над нашими головами. Небо всю ночь было красное.

С рассветом огонь все более и более сосредоточивался на участке соседнего, восемнадцатого полка, состоявшего из басков. Это предвещало атаку. Между нами и восемнадцатым полком лежал небольшой лесок. Лесок тоже попал под обстрел. Становилось ясно, что неприятель имеет в виду отрезать восемнадцатому полку отступление и лишить его возможности получить нашу поддержку.

Внезапно артиллерия смолкла. Через минуту-две заклокотали пулеметы, затрещали ружейные выстрелы. Началась атака. Прошло еще несколько минут, стрельба прекратилась. До нас донеслось торжественное пение. Пели французы. Они встречали немецкую атаку гимном. В этом было что-то щемящее.

– Легион! – воскликнул Лум-Лум. – Легион! Наши уважаемые соседи сошли с ума!

Затем он сам запел уличную песенку с припевом:

И шеи мы себе свернули Под звуки «Марсельезы». Вот почему Республиканец я!

Пение в восемнадцатом полку было смято. Дело пошло, видимо, врукопашную. Протяжный многоголосый вой несся из-за лесочка.

Сержанты принесли распоряжение приготовиться к выступлению. Мы стали поспешно собирать вещи и ранцы и вышли.

Ружья составили в козлы и молча ждали свистка. Мы стояли, подавленные собственным молчанием.

Внезапно между деревьев показался какой-то немецкий гвардеец. Держа два штыка в руках, он бежал, преследуемый баском из восемнадцатого полка. Глаза у немца были почти совершенно зажмурены, он задыхался, протяжный хрип шел из его рта.

– Смотри! – шепнул мне Пузырь. – Немец прорвался. Будет мой.

Он быстро взял из козел свою винтовку, но не успел еще вскинуть ее к плечу, как немец упал, настигнутый прикладом баска. Молча бросился на него баск. Мы видели, как он рвал, бил и тряс уже бездыханное тело.

– Эй ты, – крикнул ему Лум-Лум, – довольно! Оставь немного на завтра!

Но баск ничего не слышал. Он обхватил мертвого немца обеими руками и катался с ним по земле.

Лум-Лум и Бейлин с трудом его оторвали. Баск яростно отбивался ногами, хрипел и кричал:

– Мама! Мама!

Он не сумел выпить глоток вина, который я предложил ему: у него тряслись руки, зубы стучали о края кружки. Лум-Луму пришлось взять его голову обеими руками, и лишь тогда я смог влить ему вино в рот.

– Да! – сказал он, немного успокоившись. – У нас жарко, в восемнадцатом. Все оружие переломали. Парни уже дерутся голыми руками.

Среди всех событий этого утра мы о своем немце как-то забыли. Он сидел в канье и, угрюмо насупившись, работал. Когда сержант пришел звать нас наружу, мы просто забыли о нем. Каждый считал, что о нем подумает начальство.

Фриц сам показался на площадке. Напрасно!

Баск заметил его.

– Постойте! – закричал он. – Что это? Пехота, я сошел с ума! Легион, я сошел с ума! Мама, я сошел с ума!

Фриц стоял у порога каньи в полной форме, в шинели и каске, и обводил нас растерянными глазами.

– Что это за немец? – кричал баск. – Откуда немец?

Баск рванулся, мы с трудом его удержали.

– Это свой! – сказал кто-то. – Это наш фриц, пленный!

Но тут фрицем овладел страх, грубый, подлый страх. Фриц метался по полянке. Он подбежал к лесу и, не решаясь скрыться вглубь, стал петлять между низкорослыми кустами орешника.

Напрасно! Напрасно! Его страх раздражал нас, напоминал нам все, что только что было так легко забыто. Теперь никто больше не видел в немце обыкновенного сапожника, одетого не по-нашему. Теперь каждый вспомнил, что имеет право убить его, обязан его убить, потому что война. Было приятно почувствовать это право, эту обязанность, потому что уже появилось желание убить этого человека или кого-нибудь другого, и желание переходило в мучительный зуд.

Все стали хватать винтовки из козел.

Фриц спрятался за деревом.

Я не успел заметить, как вырвался баск. Только что он был тут. Мне на минуту показалось тревожным, что он с нежностью сумасшедшего поглаживает приклад своей винтовки. Внезапно он вырвался. Я увидел сзади, как развеваются фалды его шинели.

Фриц, выскочив из-за дерева, стоял бледный, совершенно бледный, с застывшими глазами. Увидев баска, который бежал к нему с винтовкой в руках, фриц бросился на дерево. Он крепко ухватился за широкую ветвь и забросил вверх левую ногу. В эту секунду баск догнал его. Баск держал винтовку за ствол и размахивал ею. Я видел, как она взлетела и немец грузно свалился наземь. Он был мертв.

Перед входом в канью капитана стоял его денщик, смуглый марокканец с пышной бородой.

Он без любопытства смотрел на то, что происходило вокруг. Внезапно он вытянулся, по-восточному сложил на груди руки, склонил голову и замер: из каньи выходил капитан.

– Легионеры! – громко сказал командир роты, застегивая перчатку на правой руке. – Трава не должна расти там, где прошел Легион. Помните это! Повзводно строиться!

Раздались свистки сержантов, короткая команда, лязг оружия, хлопанье ремней, звяканье котелков. Первый взвод, колыхаясь, тронулся по узкой тропинке. За ним выступили второй и третий. Затем снялся и наш, четвертый, взвод.

Баск присоединился к нам. Он вытер о траву приклад своей винтовки и присоединился к нам.

– Вот он и кончил войну, этот смешной тип! – сказал Лум-Лум, когда мы проходили мимо убитого фрица.

Неудача Эмиля ван ден Бергэ

1

Мой предшественник по должности ротного самокатчика был черногорец. Его звали Никита – он был тезкой великого князя Черногории, и за ним ходила кличка «великий князь Никита». Иногда его звали просто «герцог».

Однажды он поехал в Верзенэ за вином, и его разорвало снарядом. Тогда мы с Эмилем ван ден Бергэ унаследовали вещи герцога – котелок, запасные ботинки, вещевой мешок и ружейную мазь. Мы поделили это наследство и подружились еще тесней.

Все время, покуда батальон занимал позиции под Реймсом, у форта Бримон, мы с Эмилем спали рядом.

Фламандец Эмиль ван ден Бергэ был худощавый, хилый на вид, белобрысый парень лет двадцати четырех. Не помню, когда и где именно он пришел в роту, – кажется, когда мы стояли под Гэртэбиз. У него были бесцветные и добрые глаза, он был смешлив, и в горле у него всегда клокотал хриплый смех.

Ван ден Бергэ любил рассказывать всякие истории про свою жизнь, но его никто не слушал – истории были скучные: или про то, как в Намюре он надул мастера и ушел с работы на час раньше; или как в Фюрте он ухаживал за одной кухаркой, но она не могла кормить его с хозяйского стола, потому что хозяйка была прижимистая, и он кухарку бросил.

– Довольно! Надоело! – кричали ему со всех сторон.

Однажды Эмиль рассказал мне, что из Фландрии его выгнала нужда, безработица.

– Понимаешь? – говорил он. – Это смешно, можно лопнуть со смеху! Только бездельники бывали у нас заняты, а рабочие ходили по стране и искали работу. Разве не смешно? У моего хозяина был сын. Его тоже звали Эмиль, как меня, Эмиль ван ден Мейер. Мы росли вместе. И вот я тебе скажу – ты меня слышишь, Самовар? – я тебе клянусь страданиями Иисуса Христа, что этот Эмиль ван ден Мейер бывал занят по целым дням. То он играл в мяч руками, то он играл в мяч ногами, то он играл в мяч на площадке, то он играл в бассейне и тоже в мяч. У него не было минуты отдыха, у этого бездельника. А я, понимаешь, я и столяр, и плотник, и я понимаю по штукатурной части, и умею чинить обувь, я все умею делать, – и вот я-то ходил по Фландрии свободный, как птичка, или, я бы скорей сказал, как бешеная собака, и не знал, куда себя девать. Ты не находишь, что это смешно, Самовар?

Безработица выгнала его из Бельгии во Францию. Здесь он устроился на шахтах близ Лилля. Однако война вспыхнула раньше, чем Эмиль успел заработать на пару штанов. Он ушел в солдаты и как иностранец попал в Легион.

– Что же ты, собственно, наделал? – вмешался Бейлин, отличавшийся умением задавать ядовитые вопросы. – Что ты наделал? У бельгийского хозяина ты сидел без хлеба, у французского ты ходил без штанов. И вот ты пришел сюда, чтобы немецкий стрелок пробил тебе шкуру?

Эмиль оскалил зеленые зубы и засмеялся.

– Ну, уж ты скажешь! Все вы, русские…

– Что «все мы»?

– Хотя, конечно, это смешно… Не так ли, Самовар? Он смешной, твой Бэлэн! Мы ведь все-таки воюем за право и справедливость, я думаю?! А он забывает…

Бейлин, человек нервный, вспыльчивый, огрызнулся:

– А ты скажи мне, тухлая рыба, что это за кушанье такое – право и справедливость? Видел ты их когда-нибудь?

– Нет, – ответил Эмиль, – не видел. Никто их никогда не видел.

После мимолетной паузы он прибавил:

– А вот оборвем мы усы кайзеру Вильгельму, тогда все увидят…

Он сказал это с такой уверенностью! А Бейлин снова взорвался:

– Что «все увидят»?

– А хотя бы, например, то, что Эмиля ван ден Мейера заставят работать, а для Эмиля ван ден Бергэ работа всегда найдется. Вот так и запомни. Ты хоть и образованный, а дурак, ты не понимаешь, за что народ воюет!

Вечером дежурные, ходившие за обедом, принесли слух, что к нам назначен новый ротный командир. Ночью в окопе появилась сухая и плоская фигура в офицерской шинели. Новый капитан обошел бойницы, проверил посты. Эмиль ван ден Бергэ дремал, стоя с ружьем в руках. Эта ночь была шестой, которую мы проводили без сна, под дождем. Капитан ударил Эмиля рукояткой револьвера под подбородок и, не произнеся ни звука, пошел дальше. Очень скоро нас сменили, и мы с Эмилем заползли к себе в канью. Я не видел лица Эмиля – было темно, – но голос его дрожал. У него, видимо, дрожали и руки: он выронил винтовку.

Эмиль долго не мог говорить, у него стучали зубы. Прошло несколько минут, раньше чем он обрел дар речи. Тогда непрерывным потоком посыпались самые отборные ругательства на фламандском и французском языках: Эмиль ругал капитана.

Мне это мешало спать, я просил его отложить на завтра, но Эмиль не унимался. Он говорил, что принес свою шкуру в дар Франции не для того, чтобы Франция била его по морде.

– Посмотришь утром на мой штык! – ворчал он. – Я на нем наделаю зазубрин, и намотаю на них кишки капитана, и буду его волочить по траншее за кишки. Это так же верно, как то, что меня крестили в церкви святого Медара в Брюгге.

Через два часа другой батальон сменил нас. Мы ушли на отдых в лесок в полутора километрах от первой линии. Утром нас построили на рапорт. Читал сержант Уркад. Внезапно показался сухопарый капитан с жилистым, серым лицом. Он вошел в каре не здороваясь и негромко сказал:

– Ночью я одного разбудил. Следующего застрелю.

Губы еле шевелились, усики чуть-чуть подергивались.

Капитан повернулся на каблуках и ушел.

Даже Уркад был подавлен. Он скомандовал «вольно», и мы разошлись. Лум-Лум прислонился к дереву и стал расчесывать бакенбарды. Это было признаком волнения.

– Ах, мои деточки! – бормотал он. – Я его знаю, этого красавца, это гнусный красавец! Нас ждет горький хлеб! Это Персье! Из зуавов…

Вокруг Лум-Лума стали собираться. Эмиль подошел ближе всех.

– Понимаете, волчата, – говорил Лум-Лум, – однажды климат испортился под Батной. Иначе говоря, арабам надоела Франция, ее купцы, солдаты и чиновники, и поборы, и налоги, и набеги, и пинки в зад, и работы, за которые не платят денег, а также девочки, после которых отгнивают носы. И арабы пошли ломать посуду.

Лум-Лум рассказал, как на усмирение восстания были посланы батальон нашего полка и рота зуавов. В каком-то оазисе зуавы купались, не выставив сторожевого охранения. Офицер считал всякую предосторожность излишней нежностью, недостойной солдата.

– И вот, пока эти дурачки плескались в воде, как рыбки, неизвестно откуда наскочили конные арабы и перестреляли больше половины роты. Самое печальное, что они не заметили капитана. Тот находил, что ему не подобает купаться вместе с солдатами, и сидел под деревом. Арабы его не заметили, это была печальная ошибка…

Рассказывая, Лум-Лум все расчесывал и опять спутывал свои бакенбарды.

В отдалении показался новый капитан.

– Вот он! – пробормотал Лум-Лум. – Любуйтесь! Его тогда выкинули из зуавов и назначили к нам в Легион, на дешевое мясо.

Капитан скрылся за деревьями.

– А почему он носит красные шаровары и красное кепи? – сказал Эмиль. – Почему он не надевает защитного? А?

– Храбрость показывает! – заметил Кюнз.

Эмиль пробормотал:

– Может, он по своим зуавам скучает? А если мы ему поможем? А? А если во время атаки…

– Я не люблю таких моралистов, как ты, фламандец! – смеясь, сказал Лум-Лум. – Все вы, милый, свиньи! Вы бы хотели воевать в женских монастырях и чтобы легионерами командовали акушерки. Вы бы хотели, чтобы вас кормили бифштексами каждый день и чтобы после еды полковница вытирала вам рот кружевной салфеткой. Вы бы хотели, чтобы в траншеях не было ни грязи, ни вшей, а только девочки. И чтобы на войне вас не убивали, а только вешали вам куда-нибудь ордена и медали. Вот тогда все бы вы считали, что военное ремесло лафа.

Сказав это, Лум-Лум отвел Эмиля в сторону и прибавил вполголоса:

– Дурак! То, о чем ты думаешь, можно делать, но об этом не следует говорить…

Новый капитан воцарился в роте. Плоская фигура вырастала точно из-под земли в минуты, когда меньше всего можно было этого ожидать. Едва начиналась канонада, он выходил смотреть, все ли мы на местах. Когда падал раненый, он не позволял долго им заниматься. Когда усмиряли сошедших с ума, он брезгливо отворачивался. Когда он видел на лицах грусть по поводу гибели товарища, он поджимал губы и с высокомерием удалялся. Ни разу не обратился он ни к кому из нас. Он не разговаривал с рядовыми; сквозь зубы, еле шевеля губами, он делал замечания только сержантам. Он упрекал их в том, что у нас недостаточно военный вид, что мы не легионеры, а черт знает что, что мы не умеем носить шарфы по-африкански, что если бы мы пришли в Индокитай, то половина Сайгона приняла бы нас скорей за бродячих комедиантов, чем за легионеров.

Да, вид у нас к тому времени был уже неважный. Наши шинели были облеплены глиной, куртки и штаны пообтрепались, пуговицы поосыпались, обувь поизносилась. Да и самих нас уже потрепало порядочно. Те, которые уцелели среди безумия недель без сна и под открытым небом, кого не свалили в могилы, не свезли в лазареты и сумасшедшие дома, те ходили с распухшими лицами, с полубезумными глазами. Они почти не слышали ни что им говорят, ни что они сами отвечают.

Из землянки капитана Персье сержанты выходили мокрые. В окопах первой линии, под разрывы шрапнели, под грохот снарядов и стоны раненых, капитан Персье восстанавливал дисциплину бель-абесского гарнизона. Придирки и взыскания сыпались на наши головы.

Солдаты возненавидели капитана.

В деревне Кэвр он проходил по двору большой фермы, где мы были расквартированы. Из караульного помещения бухнул выстрел. Пуля пролетела над головой капитана. Она не задела его. Она только шепнула ему что-то на ухо и улетела дальше.

Капитан остановился и свистком вызвал начальника караульной команды.

– Ваши солдаты не умеют стрелять. Назначаю вам десять суток ареста».

Он заложил руки в карманы и ушел. Петля бамбукового стека болталась над его плечом.

– Что ты хочешь, дорогой мой Самовар, это Легион! – сказал мне однажды Лум-Лум, когда, по требованию Персье, нашего Эмиля наказывали за какую-то мелочь.

– Будут вольные движения на воздухе! – сказал, улыбаясь, Уркад. – Одевайся, ван ден Бергэ! Полная выкладка!

Он поставил Эмиля в позицию «смирно» и, как полагается в таких случаях, стал скороговоркой командовать:

– Направо! Налево! Направо! Налево! Направо! Налево! Направо! Налево! Направо! Налево! Направо!

Эмиль поворачивался быстро, как умел. Вскоре он побагровел. Минут через десять глаза у него налились слезами. Еще через десять минут он с криком и плачем упал наземь.

Лум-Лум делал знаки Уркаду, предлагая оставить беднягу в покое. Ренэ и Бейлин показывали баклаги, жестами приглашая Уркада выпить, в расчете, что это заставит его бросить Эмиля. Но в эту минуту между деревьями показалась плоская фигура с поднятыми плечами. Капитан Персье подошел к Уркаду, потребовал у него спичек, закурил и, возвращая коробок, процедил сквозь зубы:

– Чего вы ждете, чтобы окатить этого легионера водой?

Затем он ушел. Уркад поднял Эмиля, поставил его на ноги, но у ван ден Бергэ был до того страшный вид, что сержант скомандовал:

– Унеси свое мясо!

Эмиль медленно поплелся прочь.

Неделю он ходил как помешанный, плакал, не спал, не ел.

Вскоре все в роте знали, что Эмиль ван ден Бергэ заколет капитана при первом удобном случае.

2

Поле между нашими и немецкими окопами было сплошь завалено трупами. Война хорошенько нажралась в этих местах, объедки провалялись неубранные всю осень и всю зиму. Вповалку лежали немцы и французы. Их обливали дожди и сушили ветры. Мы сжились с покойниками. По ночам, в разведке, мы ползали между ними, мы с ними обменивались вещами, мелким солдатским барахлом – котелками, кушаками, ранцами, оружием… У вюртембергских гвардейцев мы срезали пуговицы с шинелей и вправляли герцогские короны в алюминиевые перстни, которые выделывали из головок немецких снарядов.

Все поле было завалено убитыми, сколько мог видеть глаз – от Шмен де Дам до Краонны, до мельницы Воклер и фермы Гэртэбиз.

Забытая скирда стояла среди поля. Четыре дерева, скрюченные и голые, как солдатское горе, стояли рядом с ней; нескошенные колосья торчали на земле, как плохо бритая щетина. Проклятое поле было похоже на лицо покойника, которого забыли предать земле.

Пришла весна.

Весной поле стало зеленеть.

Весной в небе закружились жаворонки.

Весной ветер стал приносить с поля душный запах.

Кто-то пустил слушок, что это пахнут немцы: их не пустили в небо в наказание за то, что они разрушили Реймский собор.

В мае привезли известь.

По ночам роты выходили за проволоку закапывать убитых или засыпать их известью.

Мы с Эмилем лежали в сторожевом охранении. Было сыро, земля была влажная. Темная ночь висела над нами. Рота работала тихо и быстро.

Капитан Персье был в поле. Тыча палкой, он показывал санитарам, куда сыпать известь.

Он ткнул палкой в Эмиля и сказал:

– Теперь сыпьте на этого!

– Пока не надо, господин капитан, я еще жив! – негромко заявил Эмиль.

Капитан повернулся и пошел дальше. Он ходил не сгибаясь, даже когда вспыхивали ракеты. Мы видели его прямой и плоский силуэт. Эмиль шепнул мне:

– Штык ржавеет… Сегодня ночью я должен заколоть капитана.

– Он сам ищет смерти, – согласился я.

– Он ищет свою, а найдет нашу. Смотри, как они пускают ракеты! Совсем светло на поле, а этот петух не сгибается. Он выдаст нас.

Ракеты действительно взлетали все чаще и чаще. Нас, по-видимому, заметили. Внезапно со стороны Берри-о-Бака послышался звук летящего снаряда. Он сверлил воздух, упрямо прокладывая себе дорогу, и обрушился, как глыба.

Издали послышались крики. Потом воцарилась тишина. Снова вспыхнула ракета, и новый снаряд, долго и мучительно приближаясь, упал недалеко от нас и разорвался. Шагах в ста влево разорвалась шрапнель.

– Начинают растапливать печку, – прошептал неизвестно откуда приползший Лум-Лум. – Будет жарко!

Потом разорвался снаряд позади нас.

– Я думаю, мы здесь останемся, – сказал Лум-Лум. – Можно раздеваться, кто хочет.

Канонада становилась все сильнее. Вспыхнула ракета, и мы увидели капитана. Он по-прежнему стоял не сгибаясь.

– Все из-за него. Это он накликает на нас пальбу, – шептал Эмиль. – Повторяется история с зуавами. Настает время! Клянусь тебе, Самовар, чистотой пресвятой Девы Марии…

И вот упал снаряд и взметнул вихрь земли, и тотчас мы увидели, что нет капитана Персье. Снаряд упал неподалеку, – значит, капитан убит.

Ван ден Бергэ вскочил на ноги и, крича что-то нечленораздельное, пустился бегом туда, где ранее стоял капитан Персье. Опомнившись, мы с Лум-Лумом бросились за Эмилем. Мы застали его у воронки.

Эмиль руками и ногами рыл землю. Он совершенно обезумел.

– О господин капитан! – хрипел он. – Господин капитан! О господин капитан!

Из-под земли показались ноги капитана. Эмилем овладели восторг и ярость. Захлебываясь, вздыхая и хрипя, он откапывал труп своего врага для последнего надругательства.

– Подожди, Лум-Лум! Не лезь! Я сам! Я хочу первый! Не трогай, Самовар! Голова моя! Я хочу штыком, штыком!..

И вот показалась голова. Эмиль схватил ее за уши, с силой рванул к себе, потом бросил и вскочил на ноги.

– Где моя винтовка? – закричал он и стал нашаривать в темноте.

Между тем Лум-Лум, приложив ухо к груди капитана, убедился, что тот дышит.

– Жив! – неторопливо сказал он мне. – Можно спасти. Но, кажется, этот фламандец имеет в отношении капитана более серьезные намерения? Не так ли, Самовар?

– Да, кажется… – пробормотал я.

– Ну что ж, не станем ему мешать! Пойдем!

Он оттащил меня в сторону, но вспыхивали ракеты, и мы всё видели.

Эмиль полз к капитану, держа штык в зубах. Доползши, он бросил штык наземь, схватил капитана за плечи и стал возиться с ним и тормошить его. Он хрипел и стонал.

– Сейчас, сейчас, господин капитан! – бормотал он, не нанося ему, однако, удара.

– Ну, в чем дело? – недоумевал Лум-Лум. – Чего он возится? Это его первое причастие? Не знаешь?

– Не знаю, – ответил я.

– Тут не на что смотреть, – сказал Лум-Лум. – Уйдем отсюда, Самовар! Я таких не люблю.

В эту минуту капитан очнулся. Он открыл глаза и негромко сказал:

– Передайте Уркаду – пусть уведет роту…

Он сделал попытку приподняться. Эмиль вскочил на ноги и застыл.

– Чего вы ждете, легионер ван ден Бергэ, чтобы исполнить мое приказание?

Он стал подыматься. Мы видели, как Эмиль помогал ему. Он минуту поддержал капитана под локоть. Капитан стоял нетвердо. Эмиль дал ему свою винтовку. Опираясь на нее, как на палку, Персье выпрямился, вздохнул и зашагал. Эмиль стряхнул землю с его шинели.

– Вы еще здесь?

Эмиль побежал к Уркаду.

– Ну, Самовар, ты дружил с клистирным наконечником, а не с легионером! Это совершенно бесспорно! – прошептал Лум-Лум и стал поспешно удаляться.

Уркад увел роту. Лум-Лум не переставал ворчать. Он проклинал Эмиля. Тот шагал в другом ряду и не слышал, а мне Лум-Лум надоел.

– В конце концов, чего ты от него хочешь, старый бурдюк? – сказал я. – Он парень неплохой, и у него были добрые намерения. Но не удалось! Что ж делать, быть может, рота еще осиротеет в другой раз. Будем надеяться.

Однако у Лум-Лума были свои взгляды.

– Ты меня не учи! – возразил он мне холодно и довольно резко. – Я и без тебя знаю, что добрые дела удаются реже, чем злодейства. Но я терпеть не могу болтунов. А сколько их в Легионе, великий боже! Один приходит и начинает похваляться: «Я выбью зубы сержанту». Другой говорит: «Я подколю капитана». Потом приходит третий: «Я убью командира полка». И при этом они клянутся пречистой девой и деревянной рукой капитана Данжу, который погиб в Камероне. И товарищи верят им и надеются. Потом настает решительная минута – и у всех этих сопливых бахвалов дрожат колени, как у хозяйской дочки, которая в первый раз возвращается от пастуха… В Легионе, я тебя предупреждаю, Самовар, слишком много таких! Слишком много! Гораздо больше, чем надо!

После этой ночи Эмилем ван ден Бергэ овладело состояние, близкое к безумию. Он почти перестал понимать, что ему говорят.

Однажды он подошел ко мне с каким-то особенным выражением лица.

– Пойми меня, рюскó! – сказал он сдавленным голосом. – Это потому… Ты понимаешь, я католик. Пойми это! Я не смог! Потому что я католик!

Мы не заметили, что поблизости сидел Лум-Лум. Он оборвал Эмиля:

– Ха! Католик! Он католик! Да все люди на свете католики! Других не бывает! Именно католики платят нам су в день и дают харчи за то, чтобы мы убивали католиков!

– Почему же ты требуешь, чтобы именно я убил капитана? – воскликнул Эмиль с несвойственной ему резкостью, сквозь которую были, однако, слышны слезы. – Убей его сам!

– Если бы я хотел это сделать, – ответил Лум-Лум, – я бы отсчитал до трех и сделал бы. Но мне это не нужно. А ты не смог… Вот я и говорю – ты меня слышишь, Самовар? – я говорю: кто не убил врага, тот предаст друга. Запомни это! И бойся, Самовар, таких. Это тебе сказал я, Пьер Бланшар, которого зовут Лум-Лум.

Он ушел. Эмиль больше к разговору не возвращался. Он еще глубже погрузился в меланхолию, еще больше стал отходить от нашей общей жизни. Его состояние становилось все более и более тревожным.

Однако упросить ротного фельдшера, чтобы Эмиля эвакуировали по случаю душевного расстройства, мне не удавалось: эвакуировали только буйных.

– Еще не поспел! – говорил фельдшер.

Мне стоило труда сдерживать Лум-Лума, который не переставал донимать беднягу. Я отдавал Лум-Луму свою порцию водки, лишь бы он перестал обзывать Эмиля смычком от контрабаса, поганой метелкой, сортирным сторожем, тухлой рыбой, богородицей и всякими другими неожиданными словами, которые неизвестно откуда приходили ему в голову, когда он бывал слишком трезв.

Вдруг Эмиля вызывают в канцелярию. Эмиль встревожился.

– Увидишь, – сказал он мне упавшим голосом, – это какой-нибудь краб донес на меня, что я грозился прикончить капитана!

Он ушел бледный.

Я тоже был неспокоен.

Мы ошиблись. В канцелярии писарь скомандовал Эмилю «смирно» и поздравил его с орденом за спасение ротного командира. Приказ в обычных выражениях отмечал храбрость, самоотверженность и преданность легионера второго класса ван ден Бергэ, который под неприятельским огнем спас жизнь командиру роты капитану Персье. Писарь тут же вручил Эмилю орден на красно-зеленой ленточке и выдал ему пять франков.

Все это я узнал уже позднее, от писаря. Он прибавил, что ван ден Бергэ стоял как глухонемой, он как будто ничего не слышал и не произнес ни слова.

Однако в роту Эмиль принес десять литров красного вина.

Это было в Шампани. Мы стояли в Пуйоне. Взвод был расквартирован в башне разрушенного старинного замка. Много полков прошло здесь до нас. Они изломали и сожгли всю мебель, все убранство. Нам достались только совиные гнезда, окровавленный бурнус конного алжирского стрелка и груды битых бутылок.

Рота только что пообедала. Был час покоя. В такие часы старые легионеры расстилали перед нами цветистые и суровые повести своей жизни. Лум-Лум вспоминал пески африканских походов, Делькур рассказывал о своих любовных приключениях в Тонкине, Кюнз описывал, ругаясь и ворча, свои драки в сайгонских кабаках. Горячие страсти возникали перед нами в такие часы, видения далеких стран носились над нашими кострами и в хмурой сырости наших укреплений.

В этот раз Адриен рассказывал про какую-то толстую мулатку, с которой он путался в Мостаганеме.

Было жарко. Легионеры, полураздевшись, лежали на нарах вверх животами, хохотали, переваривали пищу и хотели пить.

Именно в эту минуту и ввалился Эмиль со своими десятью литрами. Он поставил их на нары, быстро, хотя и довольно бессвязно, рассказал об их происхождении и с деланным весельем стал позвякивать по ним своим орденом.

– Пропиваю шкуру капитана! – сказал он, заискивающе глядя на нас и пытаясь скроить улыбку. – Кто желает? Подходи! Шкура капитана Персье!

Никто, однако, не двигался.

Мне было жалко Эмиля.

– Выпьем! – предложил я, чтобы поддержать его.

Однако никто не откликнулся. Ни на Эмиля, ни на его вино никто не смотрел. Лум-Лум пытался что-то съязвить насчет того, что вот, мол, одна шкура пропивает другую, но и на это никто не обратил внимания.

Эмиль сидел возле своих бутылок и ждал. Сам он не пил. Его бесцветные глаза были устремлены в одну точку. Товарищи не хотели его вина. Это было последнее, что он понял.

Прошла минута. Адриен продолжал рассказ.

Внезапно бутылка взвилась в воздухе и, описав параболу, ударилась в стенку и разбилась. Вторая полетела ей вдогонку.

Эмиль стоял посреди помещения серый, слюна текла у него изо рта. Он рвал на себе куртку левой рукой, а в правой держал литр и размахивал им. Я вырвал у него бутылку. Он повалил меня и рыча схватил новую.

– Он все вино разольет! – сказал Кюнз. – Уберите бутылки.

Эмиль метался из стороны в сторону, рыча, хрипя и воя. Все-таки мы перехватили его – Лум-Лум, Бейлин и я, – но даже втроем не могли удержать. Он вырвался и пустился вскачь

по постелям. Кто-то сбил его с ног ударом кулака по голове, но он быстро вскочил снова и, выхватив штык из ножен, пустился на меня с криком:

– Теперь вы не уйдете от меня, господин капитан! О господин капитан! О мой добрый господин капитан!..

Мне удалось выскочить в окно. Пробегая по двору замка, я еще слышал крики и стоны Эмиля.

Фельдшер играл в карты. Он сразу догадался, что происходит в башне.

– Ван ден Бергэ? – спросил он.

– Да!

– Готов?

– Кажется!

– Что ж, в добрый час! Связали?

– Не знаю.

– Ладно, пойдем посмотрим…

Он не спеша раскурил трубку и позвал санитаров.

После битвы

1

В деле под Гэртэбиз мы были разбиты и понесли жестокие потери.

В нашей роте на перекличку построилось едва пятьдесят три человека.

– Смотри, – толкнул меня под локоть Лум-Лум, – твоего земляка тоже нет, этого Петрограда!

– Неужели нет Антошки?

Его не оказалось и среди раненых.

Погиб бедняга! Мне стало жаль его.

Свое странное прозвание Антон Балонист получил благодаря тому, что в его воинской книжке, во всех пяти графах, где записывается имя солдата, его фамилия, имя и фамилия каждого из родителей и место рождения, было пять раз повторено слово «Петроград».

В Иностранном легионе не требуется никаких документов при поступлении. Человек дает о себе сведения, какие сам захочет, и писарь заполняет все графы только с его слов.

Почему дал Балонист такие странные сведения? Когда мы спрашивали его, он пожимал плечами и, улыбаясь, говорил:

– А кто его знает… Так-то я Антошка… Балонист Антон Иваныч меня звать…

Антону было лет двадцать семь. Он лишь недавно отбыл воинскую службу где-то в Перми. Дома в деревне у него не было ни родных, ни кола ни двора, место пастуха у барина занял другой парень, и Антону по возвращении из полка оказалось нечего делать.

– Не заелся я там, – говорил Антон. – Два раза в поле переночевал, да и подался в белый свет.

Антон думал, что белый свет так уж велик и добра в нем хватит. Вскоре он убедился, что белый свет – тесная, голодная и сырая коробка и лежать в ней жестко.

С весны Антон работал в Одессе портовым грузчиком. Добра перетащил он на своих молодых плечах видимо-невидимо, но для себя едва хватало на хлеб, а на штаны и вовсе не хватило.

Антон слыхал, что якобы за морем иначе люди живут, «другой порядок имеют», и стал с жадной думой смотреть на корабли и волны. Пятнадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года, укладывая в трюме итальянского грузового парохода «Чита ди Милано» мешки пшеницы, Антон приготовил себе среди них укромное местечко, где и загородил себя последним принесенным мешком в минуту, когда сирена гудела отход и грохотали якорные цепи. Три дня Антон питался черствым хлебом и огурцами, три дня голодал, все ожидая, когда перестанет бить волна и можно будет вырваться на берег, а на седьмой день Антон стоял без шапки и переминался с ноги на ногу перед смуглым матросом, который и сам не на шутку перепугался, неожиданно наткнувшись на него в трюме.

Матрос что-то кричал на своем языке, но недолго: ему было неинтересно привлекать внимание палубы, потому что в трюме у него была припрятана контрабанда. Он пихнул Антошку назад, в мешки, загородил его и дважды в день молча приносил ему еду – скользкие макароны. Антошка не знал, что происходило в мире, покуда сам он торчал в трюмной тесноте. Он не знал, какой был день, когда матрос выбросил его на берег и на какой именно берег его выбросили. Его арестовали в порту через полчаса и отвели в полицию. Так как он ничего не понимал и говорил на непонятном языке, то вечером его избили. Продержав неделю, его куда-то повели по суматошливым улицам. Солнце палило, мчались автомобили, летели извозчики под полот-

няными балдахинами и во множестве маршировали солдаты. Антошка не знал, ни в каком городе, ни в каком государстве он находится, он не знал, куда и зачем его ведут.

Но слезы брызнули у него из глаз, когда на доме, к которому его подвели, он увидел вывеску с двуглавым царским орлом. Антон был малограмотен, но по-печатному кое-как разбирал. Он не знал, что значит написанное на вывеске слово «консульство». Да это и не важно ему было! Важны были стоявшие рядом слова: «Императорское российское». Он сразу вспомнил Россию, далекую, любимую, понятную Россию.

Антошку принял нарядный господин в белом костюме.

– Ты что же, с-сукин сын?! – сказал господин по-русски, и Антошка, обливаясь слезами, упал на колени.

– М-мерзавец! – еще сказал господин и больше уже не смотрел на Антошку, который рыдал и что-то лепетал.

Господин стал разговаривать на непонятном языке с людьми, которые привели Антошку, и наконец удалился.

Антона отвели назад, в каталажку. Он пробовал разговаривать со своей стражей, но его не понимали. Антон раздражался, кричал, пел, свистел, ругался по матери, молился богу и плакал. По вечерам его избивали. Антон отупел и стал молчать. Так прошло десять дней.

И вот его посадили в поезд.

Его посадили в поезд, привезли в другой город и прямо с вокзала доставили в мощеный двор, в глубине которого стоял красивый, большой дом.

Из дома вышел осанистый, плотный барин в бородке.

– Ты ж кто, собственно, бгатец, такой? – спросил барин по-русски. – А? Из каких будешь?

– Саратовской губернии, Балашовского уезда, Великоовражской волости, села Малые Овражки, Балонист Антон Иванов, – вытянувшись в струнку, отрапортовал Антошка и тотчас громко прибавил: – Виноват, ваше высокородие.

– Ну что ж, бгат Антон, – медленно сказал барин, – ты того… догоняй! Спеши! Уже все отпгавились… Сегодня двадцать пегвое августа, как газ сегодня начали пгинимать иностганцев… Догоняй! Тоже поступишь!

– Поступлю, ваше высокородие?! Возьмут меня? – чуть не рыдая от радости, спрашивал Антон. – Заставьте бога молить, барин. Неужели возьмут?

– Ну, почему ж тебя не взять? Ты здогов?

– Так точно, здоров.

– Ну, в чем же дело? Значит, иди! – обнадеживающе сказал барин.

Хотя Антошка не знал, куда именно надо идти, он все же сорвался с места, но тотчас вернулся назад, вытянулся перед барином по-солдатски и гаркнул:

– Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!

– Ну ступай! – добродушно улыбаясь, сказал барин. – Хвалю.

– Р-р-рад стараться, ваше превосходительство! – гаркнул Антон громче прежнего.

Выдержав небольшую паузу, он позволил себе почтительно задать барину вопрос:

– А куды примут, ваше превосходительство? На какую работу?

У барина вытянулось лицо.

– На габоту? На какую габоту? Да ты, дугак, что, белены объелся? Ты откуда свалился? С Магса?

Барин смотрел на Антошку с омерзением. Затем он повернулся и вошел в дом.

Антошка стоял совершенно потерянный, не соображая, что сказал ему барин и почему рассердился.

– Идемте, идемте! Здесь, в посольстве, больше нечего оставаться, – сказали Антону по-русски двое молодых людей, вышедших из бокового флигеля.

Антошка бросился к ним. Молодые люди спешили, они почти бежали. Побежал и Антошка. Молодые люди не понимали, кретин ли этот парень или валяет дурака, когда спрашивает, в каком царстве они, все трое, сейчас находятся, где можно здесь определиться на работу и куда они так спешат. Антошка надоел им. Когда они очутились на громадной площади, которую до отказа запрудил народ, стоявший в шеренгах очередей, молодые люди пихнули Антона в одну шеренгу, а сами юркнули в другую, подальше. С соседями Антон разговориться не мог – они не понимали его. Одним ухом ухватил он обрывки русской речи.

– Нет, не Петербург будет нынче, а Петроград, – говорил кто-то.

Антон кинулся к землякам, но они уже исчезли в толпе.

Шеренги подвигались вперед довольно быстро и вскоре вошли за решетку двора, затем внутрь здания. Здесь Антошка делал то же, что другие: он разделся и дал себя осмотреть и измерить. Его похлопали по плечу и выпихнули под колоннаду. Флегматичный красавец писарь с усиками, сидевший за канцелярским столом, стал забрасывать его вопросами на непонятном языке. Антон тыкал ему в руки свой засаленный паспортишко, но тот отказывался и все продолжал задавать Антону вопросы. Антон жестикулировал, клялся, хватал себя за грудь, но из всего, что он произносил, писарь понял только слово «Петроград» и, равнодушно вписав его пять раз в матрикулы Антошки, сунул ему франк двадцать пять сантимов подъемных денег на выезд в полк, в город Блуа.

Так саратовский крестьянин Антошка, Антон Иванов Балонист, поступил добровольцем во французскую армию и был зачислен во второй полк Иностранного легиона под именем и фамилией Петроград Петроград. Так проделал он поход.

Так и погиб он, выходит!

– Ну что ж! – сказал наш новый писарь Аннион. – В чем дело? Значит, убит. Раньше кормил вшей, теперь будет кормить червей! Так и запишем. Смешной был тип. Одно имя чего стоит – Петроград!

2

Прошло пять дней.

Санитар Сапиньель пробегал по двору эвакуационного госпиталя в Клерьер, когда где-то, не очень далеко, протрещал ружейный выстрел. Пуля шлепнулась в ворота госпиталя.

– Это что же такое? – изумился Сапиньель.

Раздался еще один выстрел, и санитар почувствовал боль в руке. В первую минуту он подумал, что его ударили, и даже выругался, но поблизости не было никого, к тому же на рукаве халата появилась кровь. Сапиньель понял, что получил пулевую рану. Это было чересчур…

В тыловых учреждениях – в госпиталях, лазаретах, штабах, канцеляриях, обозах и интендантствах – люди иногда относятся сочувственно к чужой крови, но от вида своей собственной они совершенно безумеют. Рана Сапиньеля оказалась пустой царапиной – пуля едва задела героя. Однако не только сам Сапиньель поднял необычный вопль, во всем лазарете, в штабе коменданта гарнизона и в канцелярии обоза эта загадочная стрельба и ранение санитара вызвали страшный переполох. Все забыли даже о многочисленных тяжелораненых, которые после сражения валялись в Клерьер без помощи шестой день.

Тыловики не любят осложнений. Тотчас все было поставлено на ноги.

Кто смеет стрелять в десяти километрах от фронта, к тому же в госпиталь?

Во все стороны полетели гонцы, заработали полевые телефоны, штабные стали говорить, что нужно сжечь дотла такую тыловую деревню, где нет безопасности, они требовали расследования, возмездия, беспощадности.

В самой деревне расследование не дало ничего. Деревню переворошили, как скирду соломы, – виновных не нашлось.

Начальник гарнизона, майор Росс, не унимался.

– Найти во что бы то ни стало! – кричал он.

Кто-то из обозных обратил внимание на то, с чего следовало начать, а именно – что пули прилетели не из деревни, а со стороны леса, по ту сторону которого лежал фронт.

Тогда майор приказал снарядить сборные патрули в лес. Я попал в патруль. У опушки сержант разбил нас на группы.

Со мной был пожилой туарег Мессауд из первой роты.

Углубившись в лес метров на сто, мы обнаружили небольшую полянку. У горелого пня валялись стреляные гильзы. Выходит, мы сразу напали на след стрелка.

Гильзы были, однако, не нашего образца. Мессауд быстро подобрал их и положил в карман. Одну он показал мне. Так и есть, клеймо германское!

«Вот это здорово так здорово! – подумал я. – В нашем тылу погуливает немец и развлекается стрельбой по нашему госпиталю?!»

Я не обратил внимания на то, что с данного места ни госпиталь, ни деревня не видны: Клерьер лежал в лощине, по ту сторону дороги, а дорога была скрыта невысоким, но густым кустарником.

На земле, по-весеннему рыхлой, были видны свежие следы.

– Одна след наша! – сказал Мессауд, тыча пальцем в отпечаток французского армейского башмака, подбитого крупными гвоздями. – Наша мусье ходи, франк.

Загадка осложнялась. Я быстро пошел по следам. Они вели в чащу. Едва прошли мы шагов триста, как Мессауд насторожился. Вытянув руку и делая мне знаки молчания, он бросился наземь и приложил ухо к земле.

– Близко! – шепнул он мне, вставая. – Два люди!

Держа винтовку наперевес, Мессауд стал неслышно продвигаться вперед. Я шел за ним.

Вскоре мы сквозь кусты увидели немецкого солдата в бескозырке, с красным крестом на рукаве и двумя винтовками через плечо. Он сидел на поваленном дереве, к нам спиной.

Мессауд тотчас молча вскинул ружье. Мне пришлось пригрозить ему штыком, чтобы заставить отказаться от выстрела. Мы стали подкрадываться. Шумел ветер, и немец не слышал наших шагов. Я решил воспользоваться этим и взять его живым. Подойдя к нему шагов на пять, я крикнул по-немецки:

– Стой! Руки вверх!

Немец вскочил и обернулся. Увидев нас и наши наведенные винтовки, он застыл, мертвый и немой от испуга. В ту же секунду рядом с ним вскочила с земли другая фигура. Но на сей раз окаменеть пришлось мне: это был Петроград. Он стоял, выдвинув голову вперед. У него подгибались колени. Глаза были мутны. Даже испуг не просветлил их.

– Петроград! – воскликнул я обрадованно. – Тебя как сюда занесло? Мы уж по тебе свечку ставили!

У немца испуг прошел раньше, чем у Антошки. Видя, что я отвел ружье и не только не собираюсь стрелять, но даже обрадованно хлопаю Антошку по плечу, немец быстро успокоился. А Петроград долго еще ворочал глазами, покуда наконец обрел дар речи. Он спросил сбившимся голосом:

– Игде мы, слышь? Куда попали?

У Петрограда и его странного спутника лица были серо-бледные, носы и губы синие. Оба изнемогали. Оба имели вид людей, опустошенных усталостью, голодом и страхом.

– Игде мы, слышь? – повторил Антошка. – Куды попали? Которое тут войско стоит? Свое? Али плен?

Немец давно скинул ружья с плеча. Он прислонил их к дереву, а сам старался стоять в позиции «смирно», хотя и у него подкашивались ноги.

– Садись, Петроград, – предложил я, – отдохни! Не плен здесь, а свои. В свой полк попадешь.

– В свой, говоришь, полк? – переспросил Антон безразличным голосом. – Лежион? А?

– Да, в Легион! Сядь! На, пей!

Я усадил Антона и дал ему пить из своей баклаги. Антон пил вино жадно, у него засветились глаза.

А Мессауд стоял растерянный: он не понимал, почему наш же, французский солдат, обнаруживший немца раньше нас, до сих пор не убил его, почему немца не убиваю я и почему даже не видно никаких к тому приготовлений.

– Моя буду бош голова резать, – предложил он мне, степенно оглаживая свою длинную бороду.

– Подожди, Мессауд, – сказал я, – пока не надо.

Мессауд не соглашался:

– Как не надо? Зачем не надо? Война! Надо немцу купэ кабэш делать, – убеждал он меня полушепотом.

– После, после, Мессауд! – сказал я, чтобы отделаться. – После!..

Мессауд, ворча, отошел в сторону.

Петроград сделал из баклаги еще несколько глотков, оторвал ее от пересохших губ и протянул немцу.

– На, фрицка, пей! – сказал он, проглатывая свой последний глоток и глубоко вздыхая.

Немец жадно прильнул к горлышку.

– Кто он? – спросил я.

– А кто его знает?! Так, приблудный. Шесть дён по лесу вместе блукаем, ходу ищем. Тоже и он свою часть потерял, видать…

Больше Петроград объяснить не мог ничего – сил не было.

Я обратился к немцу.

От него я узнал, что во время сражения он, по должности санитара, бегал по плато, подбирал раненых и переносил их на перевязочный пункт. В лесу он был оглушен снарядом и упал. Он не знает, сколько времени пролежал. Было темно, когда он очнулся. Сражение кончилось. Кругом было тихо. Он хотел добраться до своих, но не знал направления. Пошел наугад и скоро услышал голоса. Но это были французы. Тогда он пустился обратно, но заблудился в лесу. Усталый, он упал и заснул. Проснувшись утром, он увидел на траве, почти рядом с собой французского солдата, который навел на него ружье.

– Это был вот он, – сказал немец, показывая на Антошку. – Возле меня тоже оказалось ружье на земле. Я его схватил. Так мы и лежали с французом друг против друга со взведенными курками. Потом я сказал ему, что нас здесь только двое и мы не должны друг друга убивать, и бросил ружье наземь. Тогда он тоже бросил ружье наземь. Потом мы сели рядом и закурили. Он имел свой табак, а я свой. Я разговариваю с ним, а он не понимает. Я говорю: «Не надо убивать друг друга. Лучше, говорю, пойдем вместе. Отведем один другого в плен. Куда попадем…» А он ничего не понимает по-немецки. А я по-французски не понимаю.

Внезапно немец разозлился:

– Где ж мне по-французски уметь? Я не обер-лейтенант какой-нибудь. Я огородник! Из Саксонии! Огородник! Вы понимаете? Из Саксонии!

У немца глаза налились злобой и сжались кулаки. Он стал бешено кричать на меня. Но кричал он только одно:

– Из Саксонии! Из Саксонии! Из Саксонии!

Это было то страшное исступление, хорошо знакомое каждому окопному жителю, когда разум больше не помогает человеку. Измученный голодом, вшами и грязью, оглушенный усталостью, пьяный от пальбы, стоит человек в тяжелом самозабвении. Его сотрясает последняя,

смертная злоба. Он протестует против страшной жизни, в которую брошен. Он протестует, жалуется и грозит. Но разум не работает, в разуме заедает что-то, разум дает осечку за осечкой, и с уст срывается какая-то чепуха, совсем не то, что надо было бы сказать.

– Из Саксонии! Из Саксонии! – то повышая голос до рычанья, то понижая его до хрипа, повторял немец, грозя мне винтовкой.

– А теперь можно? – робко спросил Мессауд. Он счел момент подходящим, чтобы наконец выполнить то, что полагал своей основной задачей. – Теперь можно ему купэ кабэш делать? – спросил он, многозначительно обводя правой рукой вокруг шеи.

Мне удалось опять остановить его усердие. К великому изумлению Мессауда, я не только не убил немца, но даже положил ему руку на плечо.

– Садитесь! – сказал я немцу. – Саксония хорошая страна. Успокойтесь!

Я дал ему табаку. Он успокоился сразу, так же внезапно и тяжело, как вспылил. Он не заметил, как я забрал оба ружья. Мы все сидели на пнях и курили. Блаженное состояние стало охватывать обоих бедняг.

– Он смешной, этот парень, – сказал немец, показывая на Антошку. – Представьте себе, он все время тыкал себя в грудь и повторял: «Я рюсс, рюсс». Что это значит? Я раньше подумал, что это он выдает себя за русского. Но ведь мы на французском фронте? Не правда ли? Кроме того, я видел русских солдат на картинке – у них не такая форма. Я говорю ему: «Врешь, ты французэ». А он все свое: «Рюсс, рюсс…» Чудак какой-то!

Немец уже добродушно улыбался и похлопывал Антошку по плечу.

– И чего он там лопочет? – спросил Антошка.

– Да вот, – пояснил я, – не понимал он, говорит, что ты русский.

– Так и не смекнул, голова еловая? – пожимая плечами, сказал Антошка. – Ишь ты серость! А я ему говорю: мол, гляди, фриц, я не франсэ муа, компренэ? Муа рюсс. А он, сукин сын, только глазами хлопает. А он кто? Немец? А? То-то! Я-то небось догадался. А ведь, поди, спрашивал его все время: «Ты, говорю, кто будешь? Туа, говорю, бош?» Не понял. «Туа, говорю, герман?» Опять ни в рот ногой. Сказано, серость!

Антошка рассмеялся.

– А ведь и я-то его не сразу признал. Думал, тоже француз какой. Кто их разберет? Полков немало в атаку выходило, и форма-то ведь у всех разная. А только он по-нашему, по-французски, не понимает. Гляжу, у него и прием другой. Не так он винтовку берет, как мы. Да и винтовка у него другая. Ну, подумал, может, союзник какой, англиец, или, как бы сказать, итальян? Кто их разберет? «Ты, говорю, какой веры?» Не понимает. «Крещеный?» – говорю, а сам крещуся. Гляди, и он крестится. Да только не по-нашему. Ну, думаю, пущай не по-нашему, а все своя душа, крещеная. «Ну, говорю, давай вместях дорогу искать, куды придем, там и будем». Да только куды тут идти? Из лесочка видать – на поле покойников навалено, чисто Страшный суд! И все больше арапы. Страсть сколько их, арапов, навалено! Да как тут пойдешь, когда день светлый? Застрелют, как птичку! Ну, сидим, ждем, вечера дожидаем. Жрать охота, да нечего. Так и заснули. Весь день, веришь, проспали. Вечером проснулись, доползли до покойников, понабирали у них жрать чего – хлеба взяли, сыру у кого было, сахару, табаку да вина, сколько могли, столько выпили. Так что, правду сказать, середь самих покойников сидели, середь арапов этих, да что отбирали, тут и ели, тут и пили – невтерпеж было, – да у них и заночевали. Ох, и страшно было!.. Уж они смердят, прямо мертвой смердью смердят, а куды ты от них подашься, когда неизвестно, которая сторона наша? До ночи мы так и просидели, опять жрать чего набрали, да вина, да назад, в лесок, подались. Откуда ушли, туда и пришли! Всю ночь бродили, никуда не прибрели. Лес да лес, и все тут! Опять сели закусывать. Вижу, неспособный он до вина, фрицка-то, не практикован. «Ты ж кто будешь? – опять спрашиваю. – Не кайзер ли Вильгельм, вражий дух?» – «Я, я!» – говорит. Значит, признает, что немец. Ну, думаю, какую мне с ним руку держать? Убить его, что ли, чтоб он в другой раз на

нашу Расею не нападал? Или не убивать? Думал, думал, уж совсем было наладился штыком его под зебры ахнуть, да не смог. Два дни с тою думкою ходил, уж ему самому сказал: мол, молись, фрицка, богу, потому не должен ты от меня живой уйти! И так это мы идем лесом и идем, и думаю я свою думку, и идет он впереди меня, понимаешь. Ну, снял я с плеча винтовку. Кончу его, думаю. А на душе сумно. Игде я? – думаю. Почему не на своей земле погибаю? Почему не свою шинельку таскаю? За кого складываю голову свою молодую? Эх! Сел это я на пенек, вспомнил Малые Овражки, – слыхал ты про Малые Овражки?.. Не слыхал? Я родом оттуда. Ну, вспомнил, да и заплакал, понимаешь. Очень уж в грудях защемило. А он, фриц-то, как увидел, значит, что я плачу, так и кинулся ко мне, да все по-своему лопочет: «Вас? Вас? Вас?» Уж он мне и табак свой сует, и вино тычет, да все твердит свое – «вас» да «вас». «Эх, фриц, браток! – говорю. – Кайзер ты Вильгельм, голая душа! И вас, говорю, и нас одним горем кормили, одной бедой поили. Не хочу я тебя убивать, понимаешь, – и крышка!» И как сказал я это, так сразу у меня на душе облегчение сделалось. Вроде как пасха у меня в грудях стала, когда увидел я, что не должен фрица этого убить. «Идем, говорю, браток, подадимся далее. Куда придем, там будем. До ваших дойдем – ты меня в плен сдашь. До наших – я тебя сдам. А то хорошо бы замирение сделать, понимаешь, чтоб совсем, значит, всю эту шарманку в кучу свалить, войну эту самую». Сказал это я ему, и пошли мы далее. Да вот…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.